This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Russ. misc. Dorochevich, V. M. C

В. М. Дорошевичъ.

Собраніе сочиненій.

Томъ IX.

Литераторы и общественные дѣятели.

Изданіе
Т-ва И. Д. Сытина.

HOOVER LIBRARY

Типогр. Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., свой домъ.
МОСКВА.—1905.

PG 3460
D67
1905
v.4

Герценъ.

Это было въ поѣздку между Вѣной и Подволочискомъ.

По всей Европѣ вы летали съ экспрессами, носились, какъ вихрь,—отъ Вѣны къ Подволочиску поѣздъ идетъ медленно, словно нехотя,—и колеса стучатъ:

— Читайте! Читайте!

Во всѣхъ купэ читаютъ, читаютъ жадно, глотаютъ, захлебываются и, не доходя Подволочиска, изъ всѣхъ почти оконъ полетятъ русскія книги, брошюры, листки.

Обѣ стороны полотна усѣяны книгами. Жителямъ Подволочиска есть изъ чего свертывать папиросы! Если бы они захотѣли, они могли бы составить себѣ огромнѣйшую библіотеку.

И что за странная была бы это библіотека!

Въ ней „Былое и думы“ Герцена стояли бы между сборникомъ порнографическихъ стиховъ и книжкой какого-то полоумнаго декадента, который вопіетъ:

— Развѣ терроръ для террора не полонъ уже, самъ по себѣ, красоты и величія?

Порнографія, дикій, кровавый бредъ и благородныя мысли,—все свалено въ одну кучу!

Въ этомъ „читательскомъ поѣздѣ“ я познакомился съ Герценомъ.

Уже отъ предисловія „Съ того берега“ кровь бросилась мнѣ въ голову, слезы подступили къ горлу.

Передо мной открылся новый міръ, какъ открывается новый міръ всегда, когда вы открываете геніальную книгу.

Передо мной, счастливымъ, радостнымъ, взволнованнымъ вставалъ, въ величіи слова и мысли, новый для меня писатель, мыслитель, художникъ — умершій, безсмертный.

Какое благородство мысли, какая красота формъ!

И эту книгу я долженъ буду выбросить передъ Подволочискомъ въ окно, какъ порнографическую брошюру!

Изъ-за чего?

Развѣ міръ не шагнулъ впередъ за тѣ 30 лѣтъ, какъ умеръ А. И. Герценъ?

Развѣ не многое изъ того, что осуждалъ онъ, осуждено уже исторіей?

Развѣ во многомъ его книги не обвинительный актъ, по которому уже состоялся обвинительный приговоръ исторіи?

Изъ-за чего же?

Неужели изъ-за разсѣянныхъ тамъ и сямъ личныхъ нападокъ, которыя потеряли теперь уже весь свой ядъ, потому что тѣ, въ кого онѣ были направлены, уже давно померли?

Да развѣ жъ въ этихъ рѣзкихъ строчкахъ Герценъ-мыслитель, Герценъ-художникъ, Герценъ великій патріотъ, отличающійся отъ патентованныхъ патріотовъ тѣмъ, что онъ любилъ свою родину просвѣщенной любовью?

Развѣ этотъ великій умъ, благородное сердце, великій мыслитель, несравненный художникъ, другъ и поборникъ всего прекраснаго, волнующій кровь благороднѣйшими желаніями и наполняющій умъ благороднѣйшими мыслями, опьяняющій любовью къ людямъ, — не былъ бы Герценомъ, если бы изъ-подъ его пера не вышло нѣсколькихъ обидныхъ для личностей строкъ?

Развѣ въ этихъ строкахъ весь Герценъ?

И перечитавъ еще разъ, на прощанье, предисловіе „Съ того берега“, я съ завистью подумалъ о томъ потомкѣ, который будетъ, счастливецъ, свободно воспитывать свой умъ и свое сердце на Герценѣ и читать его такъ же невозбранно, какъ читаемъ теперь кн. Мещерскаго и „раскаявшагося“ господина Тихомирова.

Но поѣздъ подходилъ къ Подволочиску, я отворилъ окно, — простите сентиментальность, поцѣловалъ книгу, зажмурился и выбросилъ ее въ окно.

Зажмурился, — потому что и теперь, черезъ много лѣтъ, одинъ на одинъ съ самимъ собою, я краснѣю при этомъ воспоминаніи.

Такъ тяжело уничтожать книгу, — конечно, если не занимаешься этимъ спеціально. Словно убиваешь человѣка. Хуже! Убиваешь лучшее, что есть въ человѣкѣ — мысль. Сотни тысячъ людей прочли бы эту книгу, эти мысли, эти чувства, — и ты отнимаешь у сотни тысячъ ихъ достояніе.

Я выглянулъ въ окно. Книга бѣлѣла около полотна, вдали. Она осталась по ту сторону границы.

Бѣдный Герценъ!

Окруженный поклоненіемъ, славой, онъ такъ тосковалъ, такъ страстно, безумно тосковалъ по своей бѣдной, занесенной снѣгами родинѣ.

И черезъ 30 лѣтъ онъ не можетъ вернуться на родину.

Теперь, когда много приговоровъ пересмотрѣно исторіей, о немъ приговоръ еще не пересмотрѣнъ.

Добиться пересмотра этого приговора, — какая достойная цѣль для отдѣленія словесности Академіи Наукъ.

Пусть къ намъ вернется хоть только то, что было вѣчнаго и безсмертнаго въ Герценѣ.

И останутся даже по ту сторону границы тѣ вспышки раздраженія, значеніе которыхъ умерло вмѣстѣ со смертью людей, на которыхъ онѣ были направлены.

Пусть отдѣленіе словесности Академіи Наукъ любящей и осторожной рукой коснется Герцена и вернетъ Россіи ея достояніе.

Герцену время вернуться изъ Европы.

Его мать, его страна, любимая и любящая, тоскуетъ и ждетъ своего великаго, своего безсмертнаго сына.

И втихомолку плачетъ о немъ сегодня, въ годовщину его смерти, отъ тяжести двойной разлуки.

Трагедія Гоголя.

Однажды человѣкъ пришелъ къ человѣку и сказалъ ему:
— Вѣдь, я тоже человѣкъ!
Начало легенды „о властителѣ всей Индіи и самомъ послѣднемъ паріи“.

Каминъ полыхалъ.

Пламя охватывало исписанные листы бумаги, — и по стѣнамъ темной комнаты дрожалъ его красный отблескъ.

Красный, кровавый, зловѣщій.

Словно отблескъ сатанинскаго пламени.

Словно кусочекъ ада бушевалъ за желѣзной рѣшеткой камина.

Передъ каминомъ, сгорбившись, сидѣлъ Человѣкъ, жалкій, великій, несчастный, избранникъ небесъ, измученный и властитель душъ.

И ему казалось, что это не пламя беретъ и уничтожаетъ исписанные листы, — что сатана схватываетъ каждую строку.

И онъ, съ ужасомъ глядя на огонь, шепталъ тонкими, блѣдными, дрожащими губами:

— Оставь меня, сатана!

А сатана былъ кругомъ, вездѣ.

Сатанинскія слова чернѣли на бѣлой бумагѣ.

Сатана былъ въ немъ самомъ, наполнялъ его душу.

Человѣкъ глядѣлъ на горѣвшіе листы.

Знакомыя имена, слова ярко освѣщались огнемъ и исчезали въ пламени.

Сколько минутъ смѣха, веселья, вдохновенья, — сколько сладкихъ минутъ творчества и радостныхъ, подступавшихъ къ горлу, слезъ—исчезало въ огнѣ.

И Человѣку было такъ страшно, страшно жаль этихъ горѣвшихъ въ огнѣ листовъ.

Жаль этихъ сатанинскихъ писаній.

— Отступись, отступись отъ меня, сатана!—шепталъ онъ, съ ужасомъ чувствуя, что жалѣетъ горѣвшіе листы.

И, борясь съ грѣшной жалостью, онъ вызывалъ образы милыхъ, добрыхъ, праведныхъ, благочестивыхъ людей, которымъ будетъ радостна гибель твореній сатаны.

— Я возрадуюсь съ вами, любимые мои!

И они проходили передъ нимъ, со смиренными лицами, пахнущіе немного ладаномъ, немного деревяннымъ масломъ.

Человѣкъ улыбался имъ, они были милы ему.

И что-то забавное сквозило въ ихъ милыхъ чертахъ, въ ихъ постныхъ фигурахъ.

Словно умиленныя просвирни!

Какъ забавны, какъ комичны онѣ, съ ихъ ханжествомъ, съ ихъ перепуганными лицами, съ ихъ маленькими, куриными мозгами.

Какъ жалки, какъ ничтожны!

Какъ милы и ничтожны!

И они обращались въ художественные образы, забавные, жалкіе, смѣшные, — и Человѣкъ улыбался, думая о тѣхъ курьезныхъ фигурахъ, которыя онъ создаетъ изъ нихъ.

И онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ, поймалъ себя на этихъ мысляхъ, на этомъ смѣхѣ.

— Оставь, оставь меня, сатана!

А изъ темныхъ угловъ комнаты, освѣщенныхъ дрожащимъ краснымъ полымемъ камина,—выходили фигуры карликовъ, маленькихъ, несчастныхъ, оплеванныхъ.

Они имѣли видъ уничтоженныхъ, жалкихъ людей.

Шелъ городничій, и мундиръ висѣлъ на немъ, какъ тряпка, шпажонка болталась и путалась сбоку. Ноздревъ имѣлъ сконфуженный видъ. Маниловъ со слезами на глазахъ велъ за руку жену, не смѣя взглянуть на нее отъ стыда. Собакевичъ не зналъ, куда дѣвать глаза. Бѣдняга мичманъ Жевакинъ не могъ найти себѣ мѣста.

И эти маленькіе люди подошли къ большому, къ великому Человѣку и подняли на него глаза и сказали:

— Вѣдь мы тоже люди! Развѣ виноваты мы въ томъ, что мы пошлы, глупы или ничтожны? Мы не виноваты въ этомъ! Мы жалкіе и несчастные,—но братья твои. А ты, ты, великій человѣкъ... Какъ орелъ, парящій въ небесахъ... Что ты сдѣлалъ для насъ? Ты осмѣялъ насъ, ты съ хохотомъ остановился надъ нашей скудостью, надъ нашимъ убожествомъ. Ты пригвоздилъ насъ страшнымъ и жгучимъ словомъ твоимъ. Пусть всѣ, пусть весь міръ хохочетъ надъ жалкими братьями твоими! Ты бичевалъ насъ смѣхомъ твоимъ!

И жалкая толпа оплеванныхъ людей стояла передъ великимъ человѣкомъ и съ укоромъ, со слезами глядѣла на него.

— Все, все обнажилъ! До стыда, до боли обнажилъ! — раздался болѣзненный, мучительный крикъ изъ толпы.

И великій человѣкъ съ ужасомъ смотрѣлъ на толпу маленькихъ людей.

Онъ узналъ ихъ.

Узналъ каждаго изъ нихъ.

И мало-по-малу ихъ огорченныя лица начинали казаться ему забавными.

Городничій смотрѣлъ сокрушенно.

Великому человѣку показалось, что Сквозникъ-Дмухановскій сейчасъ скажетъ:

— Чина, званія не пощадилъ!

Но съ устъ городничаго вырвался такой глубокій, такой человѣческій вздохъ.

Старикъ Иванъ Ивановичъ смотрѣлъ укоризненно.

Казалось, онъ скажетъ сейчасъ:

— А что касательно будто бы Гапки, милостивый государь мой, сіе, какъ персонально чести моей касающееся...

Но по его старческимъ щекамъ текли слезы, а дрожащими губами онъ прошамкалъ:

— За что-съ? За что?

И Человѣкъ въ ужасѣ, въ ужасѣ отъ смѣха, зазвучавшаго было снова въ его душѣ, вскочилъ:

— Оставь, оставь меня, сатана!

И кинулъ въ огонь всѣ рукописи, которыя лежали на полу около его кресла.

— Возьми, возьми свое, сатана! И оставь, оставь меня!

И полный ужаса предъ сатаной, который наполнялъ его душу, — Человѣкъ, жалкій, великій, несчастный, избранникъ небесъ, рыдалъ, стоя на колѣняхъ, молился, дрожалъ.

— Оставь, оставь меня, сатана!

А сатана былъ его талантъ.

Цыпленокъ.

(восточная сказка *).

Это было въ Индіи.

Въ Индіи, гдѣ боги ближе къ землѣ, и отъ ихъ благодатнаго дыханія на землѣ случаются чудеса.

Такое чудо случилось въ Пенджабѣ. Жилъ-былъ въ Пенджабѣ великій раджа. Премудрый и славный.

Отъ Ганга до Инда гремѣла слава его. Даже далекія страны наполнялись благоуханіемъ его ума.

Изъ далекихъ странъ сходились люди послушать его мудрости.

Божество сходило къ нему и бесѣдовало съ нимъ, и говорило его устами народу. И онъ всѣхъ принималъ подъ тѣнью развѣсистаго баобаба.

Онъ былъ богатъ и могучъ, но оставилъ все и удалился въ лѣсъ и поселился тамъ, далеко отъ людей и близко къ божеству.

Цѣлыми днями онъ стоялъ на колѣняхъ, устремивъ къ небу восторженный взоръ.

И видѣлъ онъ въ голубой эмали божество, доброе и грустное, съ печалью и любовью смотрѣвшее на землю. Когда же приходилъ кто, старый раджа прерывалъ для него свое созерцаніе божества и бесѣдовалъ съ пришедшимъ, пока тотъ хотѣлъ. И обращались къ нему съ вопросами, сомнѣніями всѣ, кто хотѣлъ.

---

*) Писано во время болѣзни Л. Н. Толстого.

Кругомъ кипѣли войны, совершались насилія, носилось горе, — и на все, какъ эхо, откликался изъ глубины лѣса страдавшій и молившійся старый раджа.

Его голосъ, то гремѣлъ, какъ раскаты небеснаго грома, то проносился, какъ проносится по цвѣтамъ легкое дыханье весенняго вѣтерка.

Грозный къ сильнымъ, полный любви къ слабымъ.

И звали мудреца индусы:

— Великая Совѣсть.

Такъ жилъ въ глубинѣ лѣса старый, ушедшій отъ всѣхъ благъ міра раджа.

У него были враги.

Они кричали:

— Зачѣмъ онъ ушелъ отъ міра и не живетъ какъ прилично раджѣ?!

— Онъ дѣлаетъ это ради славы!

— Изъ лицемѣрья!

— Онъ пресытился!

И были около него хуже, чѣмъ враги,—его ученики.

Они тоже бросили все. Хотя имъ нечего было бросать.

Они тоже отказались отъ всего. Хотя имъ не отъ чего было отказываться. Они жили также подъ сѣнью окрестныхъ деревьевъ, выбирая для этого баобабы, — потому что великій учитель жилъ подъ баобабомъ.

Они носили лохмотья, которыя тлѣли у нихъ на тѣлѣ.

Они ползали на брюхѣ, боясь раздавить ногой насѣкомое въ травѣ.

Встрѣчаясь съ муравьемъ, они останавливались, чтобы дать ему время уползти съ ихъ пути и не задавить его. И считали себя святыми, потому что, дыша, закрывали ротъ рукою, чтобы нечаянно не проглотить и не лишить жизни маленькой мошки.

Подражая великому учителю, они также цѣлыми днями стояли на колѣняхъ и смотрѣли, не отрываясь,

вверхъ, хотя онъ видѣлъ въ небѣ божество, а они видѣли только кончикъ своего носа.

И вотъ однажды ученый раджа заболѣлъ. Смутились всѣ кругомъ, что уйдетъ изъ міра Великая Совѣсть, и бросились къ инглезскимъ врачамъ съ мольбою:

— Спасите намъ его.

Инглезскіе врачи, посовѣтовавшись съ ихъ мудростью, сказали:

— Старый раджа истощенъ. Возьмите цыпленка, сварите его и дайте пить больному. Это подкрѣпитъ его силы.

Сейчасъ же принесли цыпленка.

Но факиры закричали голосами, дикими, какъ вой шакаловъ:

— Что? Не онъ ли, когда голодъ изнурялъ насъ, отдавалъ свой рисъ муравьямъ, потому что и муравьи въ голодный годъ голодны также. Не онъ ли говорилъ: „Не убивайте“. И вы хотите напоить кровью его сердце. Убить живое существо, чтобы спасти его.

— Но онъ умретъ.

— Но мы не допустимъ убійства!

И старый раджа умеръ.

А цыпленокъ остался живъ.

Боги близко живутъ къ землѣ въ великой таинственной Индіи.

Увидавъ то, что происходило, Магадэва улыбнулся печальной-печальной улыбкой и вычеркнулъ завѣтъ, что начерталъ на золотой доскѣ:

— Не поклоняйся идолу...

И написалъ съ грустной улыбкой:

— Не поклоняйся цыпленку.

Толстой и сегодняшній день.

Вдали отъ „всякаго другого жилья“, около бочки, лежалъ на пескѣ голый грекъ и грѣлся на припекѣ.

Къ нему съ блестящей свитой подъѣхалъ царь.

Царь спросилъ:

— Не могу ли я что-нибудь для тебя сдѣлать?

Грекъ посмотрѣлъ на стоявшую передъ нимъ пышную толпу, вѣроятно, такъ, какъ мы смотримъ на пестрооперенныхъ птицъ,—съ любопытствомъ, но безъ зависти.

И отвѣтилъ:

— Отодвинься немного отъ солнца.

Вѣроятно, многіе изъ присутствовавшихъ тогда съ удивленіемъ пожали плечами.

Черезъ много-много сотъ лѣтъ пожалъ плечами и я, думая какъ-то случайно объ этомъ эпизодѣ, случившемся такъ далеко и давно.

Неужели Діогенъ, дѣйствительно, ничего не могъ попросить у Александра?

Неужели онъ не зналъ ни одного несправедливо обвиненнаго и не могъ попросить за него царя?

Неужели въ Греціи всѣ были такъ счастливы? И не было ни одного несчастнаго, чтобъ сказать царю:

— Помоги ему!

Онъ могъ бы, пользуясь царскимъ словомъ, спросить нѣсколько „талантовъ“ и сдѣлать на нихъ много-много добра.

Конечно.

Только тогда онъ не былъ бы Діогеномъ...

Къ Л. Н. Толстому обращаются съ вопросами:

— Что онъ думаетъ о войнѣ?

— Что онъ думаетъ о той или другой формѣ правленія?

— Что онъ думаетъ о тѣхъ или другихъ способахъ борьбы?

Мнѣ кажется, что Толстой долженъ испытывать то же, что онъ испытывалъ, когда въ Крыму къ нему обратилась одна англичанка...

Не знаю, анекдотъ это или фактъ.

Говорятъ, что въ Гаспрѣ къ Льву Николаевичу явилась цѣлая компанія туристовъ-англичанъ.

Среди нихъ была одна дама, которая попросила карточку у великаго писателя:

— Я съ такимъ восторгомъ читала ваши произведенія!

Левъ Николаевичъ спросилъ:

— Какія же именно?

Любительница великихъ людей и ихъ карточекъ не знала ни одного...

Я понимаю еще, что русскій человѣкъ можетъ обращаться къ Толстому со всѣми этими вопросами.

Живя въ Россіи, конечно, нельзя знать Толстого.

Но совершенно непонятно, какъ человѣкъ можетъ ѣхать изъ Парижа, чтобы „интервьюировать“ Толстого по этимъ вопросамъ, какъ можно посылать ему телеграммы съ уплаченнымъ отвѣтомъ „на сто словъ“ изъ Америки?

Слово изъ Америки стоитъ рубль.

Гораздо дешевле послать въ ближайшую книжную лавку и купить сочиненія Толстого.

Ѣздить, телеграфировать. Можно ли такъ безполезно тратить время и деньги?

И, отправляясь къ писателю, обнаруживать такое глубокое незнакомство съ его произведеніями?

Если бы французскій журналистъ, отправляясь изъ Парижа въ Ясную Поляну, купилъ себѣ на дорогу что-нибудь изъ произведеній Толстого,— онъ вернулся бы обратно, не доѣхавъ до Эйдкунена.

Обратиться къ Толстому съ вопросомъ:

— Какъ намъ лучше устроить нашу культурную жизнь?

Если бы Толстой былъ золъ,—онъ подарилъ бы спрашивающему „Рабство нашего времени".

Я жилъ за границей, когда,—сразу на всѣхъ европейскихъ языкахъ,—вышла эта книга.

Я жилъ тогда въ старомъ городѣ Франкфуртѣ-на-Майнѣ.

Зимою. Гулялъ по его средневѣковымъ узенькимъ улицамъ, съ нависшими надъ головой выступами верхнихъ этажей. Мимо покрытыхъ инеемъ статуй Гуттенберга и Берне. Просиживалъ свободное время въ маленькой „классной комнатѣ", гдѣ Гёте написалъ прологъ къ „Фаусту".

Здѣсь „Der Geist" бесѣдовалъ „mit dem Teufel".

И доставлялъ себѣ высокое удовольствіе, которое — увы!—можно доставить себѣ только за границей. Читалъ параллельно „Женщину" Бебеля и „Рабство нашего времени" Толстого.

— Прежняя форма рабства исчезла,—говоритъ Толстой,— за ненадобностью. Есть иное средство превращать людей въ рабовъ, на какомъ угодно разстояніи. Это—деньги.

— Капиталъ—орудіе рабства,—говоритъ Бебель.

— Вся такъ называемая культура держится на рабствѣ!—говоритъ Толстой.—Деньгами одни заставляютъ другихъ на себя работать!

То же говоритъ Бебель:

— Вся теперешняя культура держится на рабствѣ, и рабство держится при помощи денегъ.

И оба мечтаютъ о томъ времени, когда этой несправедливости, этихъ „принудительныхъ работъ“ не будетъ.

Такъ въ полномъ согласіи они доходятъ до... выгребной ямы.

Передъ выгребной ямой они останавливаются и отъ выгребной ямы расходятся въ разныя стороны.

Вы найдете, быть-можетъ, тонъ шутливымъ по отношенію къ Толстому? Вѣдь нынче нѣтъ читателя,— всѣ цензоры!

Но, свободный въ мысли и духѣ, даже передъ Толстымъ зачѣмъ я буду стоять на колѣняхъ? Я предпочитаю улыбаться тѣмъ, кого люблю.

Толстой говоритъ:

— Ну, а кто,— при новомъ, какомъ бы то ни было, порядкѣ вещей,—захочетъ заниматься грязной и отвратительной работой? Чистить, напримѣръ, выгребную яму? Добровольно, конечно, никто не захочетъ! Слѣдовательно, придется же найти какія-нибудь средства принуждать однихъ дѣлать то, чего не хотятъ дѣлать другіе. А принудительныя работы — рабство. Слѣдовательно, разъ будетъ существовать культура,—будетъ и рабство.

Бебель говоритъ:

— Культура при помощи успѣховъ техники, сумѣетъ сдѣлать такъ, что отвратительныхъ, грязныхъ, вредныхъ, а потому и унизительныхъ работъ не будетъ совсѣмъ. Она сдѣлаетъ всякую, самую грязную теперь, работу чистой, безвредной, легкой и пріятной. И чистить выгребную яму будетъ такимъ же легкимъ и пріятнымъ дѣломъ, какъ всякое другое.

Воображенію рисуется прямо идиллія.

— Пойдемте чистить выгребную яму!— предлагаетъ Францъ Амаліи, какъ теперь онъ предлагаетъ:

— Пойдемте играть въ тенисъ!

— Ахъ, какая счастливая мысль!— радостно всплескиваетъ руками Амалія.—Какой восторгъ! Я давно не чистила выгребныхъ ямъ! Мама, мама! Я иду съ Францемъ чистить выгребную яму!

— Надѣнь, въ такомъ случаѣ, чистые воротничокъ и рукавчики!—говоритъ мать, нѣжно глядя на радостно оживившуюся дочь.—Нельзя на такую работу итти замарашкой! Тамъ будетъ вся молодежь.

Можетъ-быть, такъ оно и будетъ...

Но теперь это вызываетъ улыбку. Быть-можетъ, такую же, какой улыбнулся бы мой дѣдъ, если бъ ему сказать:

— Изъ Москвы можно будетъ разговаривать съ человѣкомъ, живущимъ въ Петербургѣ.

— Какъ?

— По проволокѣ!

Это прибавило бы старичку еще больше веселья.

И такъ Толстой говоритъ:

— Культура немыслима безъ принудительныхъ, непріятныхъ работъ. Принудительныя работы—рабство. Долой культуру!

Бебель говоритъ:

— Культура сумѣетъ уничтожить непріятныя работы! Да здравствуетъ и развивается культура!

И вы спрашиваете у Толстого:

— Какъ лучше устроить культурную жизнь?

Съ его точки зрѣнія, вы спрашиваете:

— Какія бы новыя выдумать формы рабства?

Вы ждете совѣта?

Отвѣта? И отвѣта, который бы васъ удовлетворилъ? Который бы вамъ помогъ?

У Толстого спрашиваютъ:

— Что онъ думаетъ о войнѣ?

И потомъ ужасно недовольны его отвѣтомъ.

Человѣкъ считаетъ что-нибудь преступленіемъ. Справедливо, нѣтъ,—вопросъ другого сорта. Но онъ убѣжденъ:

— Это преступленіе.

И его спрашиваютъ:

— А что, если преступленіе совершитъ Иванъ Ивановичъ,—что это будетъ?

— Преступленіе.

— А если Петръ Петровичъ?

Что онъ можетъ отвѣтить?

— Тоже преступленіе!

— Но позвольте! Какъ же? Петръ Петровичъ вѣдь вамъ родственникъ, и даже близкій?!

Это у дикаря спросили:

— Что такое добро и зло?

И дикарь отвѣтилъ:

— Если меня отколотятъ, это—зло. Если я отколочу, это—добро.

Такъ вѣдь то дикарь.

У Толстого надо заранѣе предполагать другую логику.

Къ Толстому приступаютъ, и даже по телеграфу:

— Какую форму государственнаго устройства вы считаете лучшей?

Представьте себѣ, что къ атеисту кто-нибудь обратился бы за совѣтомъ:

— Какъ лучше достигнуть вѣчнаго блаженства въ загробной жизни?

Да вѣдь онъ не вѣритъ въ самое существованіе этой жизни.

Толстой отрицаетъ государство.

По его мнѣнію, это такая форма общежитія, которая и служитъ источникомъ многихъ золъ.

Правъ онъ, не правъ,—другой вопросъ. Но онъ такъ думаетъ.

Какъ же вы спросите человѣка:

— Какъ прочнѣе устроить то, что вы считаете зломъ?

Самымъ забавнымъ вопросомъ является вопросъ Толстому:

— О способахъ борьбы для лучшаго устройства жизни.

Человѣкъ десятки лѣтъ повторяетъ одно и то же:

— Вы хотите перевернуть весь міръ? Нѣтъ ничего легче. Начните съ себя. Сдѣлайтесь другимъ. И пусть каждый человѣкъ сдѣлается инымъ. И тогда весь міръ сдѣлается инымъ. И на землѣ воцарятся справедливость и добро. Никакіе же иные перевороты, кромѣ „переворота каждымъ самого себя“, ничему не помогутъ!

Онъ указываетъ средство:

— Какъ сдѣлаться инымъ?

— Отыщите Бога и дѣлайте все „по-Божьему“.

Отыщите въ себѣ.

Въ новомъ разсказѣ Толстого: „Божеское и человѣческое“, содержаніе котораго разсказывалось въ иностранныхъ газетахъ, сектантъ радостно говоритъ:

— Бога нашелъ! Богъ-то Онъ—во! Вотъ гдѣ Онъ!

И показываетъ себѣ на грудь:

— Вотъ гдѣ Онъ, Богъ-то! И у всякаго человѣка! А я-то Его искалъ! А Онъ здѣсь! Здѣсь Онъ!

Одинъ изъ самыхъ интересныхъ людей, какихъ я видѣлъ когда-нибудь, сектантъ Галактіоновъ, на Сахалинѣ, говорилъ мнѣ съ ясными глазами:

— Небеса? Они въ ростъ человѣка!

И указывалъ на лобъ:

— Вотъ гдѣ небеса-то! Вотъ гдѣ свѣтъ-то! Вотъ гдѣ надо, чтобъ прояснилось,—и все будетъ ясно и хорошо и добро!

И я глядѣлъ ему въ глаза,—или, говоря его языкомъ:

— Глядѣлъ въ окошки его души и видѣлъ, какъ въ горницѣ у него свѣтло и чисто.

А ученикъ іоги, въ Бенаресѣ, говорилъ мнѣ:

— Богъ, это—все, что существуетъ. Это вы, это я. Если вы, если я,—если мы говоримъ другъ другу свѣтлыя, добрыя мысли, это Брама блещетъ нетлѣннымъ

блескомъ своимъ въ вашемъ умѣ. И блеску Бога блескомъ Бога отвѣчаю я.

И всѣ они говорили одно и то же.

И если бы вы у каждаго изъ нихъ спросили:

— Какъ еще, помимо этого, единственнаго, по ихъ мнѣнію, пути можно устроить лучше жизнь?

Каждый изъ нихъ взглянулъ бы на васъ съ изумленіемъ.

Какъ на человѣка, который спросилъ бы:

— А что для этого лучше надѣть? Сюртукъ или смокингъ?

Я съ большимъ интересомъ слушалъ бесѣду съ Толстымъ о „Разсвѣтѣ“.

— Американскій это рысакъ или русскій?

Толстой знаетъ лошадей.

Главное,—„лошадь онъ признаетъ“.

Но если бы я былъ редакторомъ, и мнѣ предложилъ бы „интервьюеръ“:

— Хотите, я поѣду къ Толстому и спрошу его о лучшей формѣ государственнаго устройства и какъ къ ней стремиться.

Я сказалъ бы:

— Не безпокойте и не ѣздите.

Потому что „государства Толстой не признаетъ“.

Если бы я, сознавая ложь и ничтожество, и глупость той жизни, которую веду я и ведутъ всѣ вокругъ меня, захотѣлъ перемѣнить ее совершенно,—я пошелъ бы къ Толстому и не упалъ бы передъ нимъ на колѣни только потому, что, свободнѣйшій изъ умовъ, онъ не любитъ рабства поклоненія.

И сказалъ бы учителю:

— Учитель! ты, сомнѣвавшійся, перестрадавшій уже все, чѣмъ страдаю я, перемучившійся, передумавшій,— помоги мнѣ, слабому, своимъ опытомъ, тѣмъ знаніемъ,

котораго ты достигъ, своимъ необъятнымъ умомъ. Помоги мнѣ выйти на иную дорогу!

Но если бы мнѣ надо было разрѣшить вопросъ:

— Какъ мнѣ лучше работать: на жалованьѣ или за построчный гонораръ. При какомъ условіи я лучше могу сохранить свободу творчества?

Я пошелъ бы посовѣтоваться съ кѣмъ угодно, кромѣ Толстого.

Что онъ могъ бы сказать мнѣ?

— Другъ мой, вопросъ о творчествѣ не можетъ зависѣть ни отъ жалованья ни отъ гонорара ужъ потому, что за литературное творчество не надо брать ни жалованья ни гонорара. Если вы хотите свободы творчества, — она у васъ въ рукахъ: откажитесь отъ жалованья и отъ гонорара. И вы будете писать только тогда, когда вы хотите. И только то, что вы хотите. Потому что вамъ не зачѣмъ будетъ поступать иначе.

Самое курьезное, конечно, было бы поѣхать спросить Толстого:

— Левъ Николаевичъ! какъ лучше приготовлять телячьи котлеты: жареными, въ сухаряхъ или паровыя, подъ бѣлымъ соусомъ?

Что онъ могъ бы отвѣтить?

— Голубчикъ! я—вегетаріанецъ! По-моему, ни такъ ни этакъ котлетъ готовить не слѣдуетъ!

А между тѣмъ, къ Толстому только и обращаются, что съ вопросомъ:

— Какъ лучше приготовить котлеты?

А между тѣмъ его отвѣты вызываютъ глубокое волненіе въ сердцахъ.

Одни радуются:

— Смотрите, самъ Толстой...

Другіе опечалены:

— Какъ Толстой, въ такую минуту...

Между тѣмъ тутъ нѣтъ причинъ ни для радости ни для печали.

— Что же, значитъ, Толстой сейчасъ не нуженъ?

Нужнѣе, чѣмъ всѣ мы, вмѣстѣ взятые. Потому что мы исчезнемъ, а вѣчность останется. Толстой же занятъ вѣчными вопросами человѣческаго духа.

Мы заняты этой и слѣдующими минутами. Великое и почтенное дѣло. Но вѣдь надо же заниматься и вопросами вѣчными. Они тоже стоятъ вниманія.

Не надо только къ человѣку, думающему надъ вѣчностью, приступать съ вопросомъ.

— Что сегодня готовить?

Мы всѣ немножко—Ксантипа по отношенію къ этому Сократу.

— Да, но если вопросъ насущный? Какое же жестокосердіе въ эту минуту заниматься „своими кругами“!

Приходится слышать такія рѣчи.

При чемъ же тутъ жестокосердіе?

Человѣкъ искренно убѣжденъ, что все, что мы дѣлаемъ, не то, что надо дѣлать.

Его спрашиваютъ.

Онъ отвѣчаетъ, какъ долженъ человѣкъ отвѣчать,— искренно, чистосердечно:

— По-моему, все это, господа, ни къ чему. Нужно не это. А это неважно.

Это не индиферентизмъ.

Въ великомъ сердцѣ Толстого нѣтъ мѣста для индиферентизма.

Это врачъ, великій врачъ, къ которому приходитъ больная, страдающая глубокимъ, смертельнымъ недугомъ, но не желающая лѣчиться ничѣмъ, кромѣ лавровишневыхъ и валеріановыхъ капель, и спрашиваетъ:

— Докторъ, что мнѣ лучше принимать: лавро-вишневыя капли или валеріанку?

Онъ отвѣчаетъ ей, съ глубокой грустью отвѣчаетъ:

— Сударыня, принимайте то или другое, — рѣшительно безразлично Я вамъ прямо долженъ сказать: ни то ни другое вамъ не поможетъ.

Вѣрны ли его знанія? Или онъ заблуждается, считая свои знанія вѣрными?

Но онъ такъ думаетъ, онъ въ этомъ убѣжденъ, онъ такъ вѣритъ. И его долгъ сказать то, что онъ думаетъ, только то, во что онъ вѣритъ.

Позвольте кончить тѣмъ, съ чего я началъ.

Было бы превосходно, если бъ Діогенъ отвѣтилъ Александру:

— Дай мнѣ столько-то денегъ.

Онъ могъ бы раздать ихъ бѣднѣйшимъ жителямъ города. Сдѣлать нѣсколько добрыхъ дѣлъ.

Только тогда не было бы Діогена.

Не было бы этого образа,—голаго грека, лежащаго на пескѣ около бочки и отвѣчающаго даже Александру Македонскому:

— Все, что ты можешь сдѣлать для человѣка, это—посторониться отъ солнца!

И этотъ образъ не заставлялъ бы задумываться поколѣнія и поколѣнія и не освѣщалъ бы яркимъ ироническимъ свѣтомъ вздорность и пустоту всего, кромѣ свободы духа.

Было бы въ тотъ вечеръ нѣсколько сытыхъ грековъ, которые на утро были бы снова голодны. И исчезла бы изъ исторіи человѣчества фигура Діогена.

Было бы это хорошо? Не было бы это потерей?

Я очень боюсь, что какой-нибудь придирчивый читатель,—съ тѣхъ поръ, какъ стали говорить о свободѣ, стали всѣ придирчины,—боюсь, что придирчивый читатель скажетъ:

— Что это? Вы, кажется, „защищаете“ Толстого?

Избави Боже.

Я еще не сошелъ съ ума и не собираюсь загораживать Монблана отъ вѣтра своей спиной.

Но въ послѣднее время, по поводу телеграммъ, отвѣтовъ на вопросы „сегодняшняго дня“, столько приходится слышать о Толстомъ, что мнѣ хотѣлось подѣлиться на эту тему своими мыслями.

И сказать и радующимся, и опечаленнымъ, и негодующимъ,—есть даже и такіе:

— Господа. Нѣтъ основаній ни радоваться ни печалиться. А негодованіе ужъ совсѣмъ запоздало. На нѣсколько десятковъ лѣтъ.

Если что-нибудь въ словахъ Толстого показалось вамъ сюрпризомъ,— виноватъ не онъ и не вы, а то, что его книги, обойдя весь міръ, не могутъ никакъ переѣхать только маленькаго разстоянія:

— Отъ Эйдкунена до Вержболова.

Горькій.

Въ Спасскомъ тупичкѣ у Спесивцева шла стройка. Принялись заколачивать сваи.

Раннимъ утромъ, весеннимъ, свѣжимъ и солнечнымъ, въ тупичкѣ раздалась пѣсня.

Тупичокъ былъ тихій переулокъ.

Про тупичокъ его жители съ гордостью говорили:

— Тише нашего проулка не найтить!

Жили въ немъ мастерки-хозяйчики, портные, сапожники, мелкій слесарь, столяръ, маленькіе желѣзнодорожные служащіе.

Деньги за квартиры и комнаты платили „по прошествіи", съ трудомъ. Жили — бились и всю жизнь были кругомъ должны.

Всѣ работали по своимъ угламъ, какъ колесики въ часовомъ механизмѣ, и жизнь въ тупичкѣ шла, какъ часы, не отставая и не торопясь.

Когда у тупичковскихъ обывателей спрашивали:

— Ну, какъ поживаете?

Они отвѣчали:

— Живемъ ровно!

Именно, какъ заведенная машина. Петръ Евстигнеевичъ на службу пошелъ, — значитъ, восемь часовъ. Сапожниковъ мальчишка за хлѣбомъ побѣгъ, — значитъ часъ скоро. Василій Терентьевичъ со службы идетъ, ко щамъ поторапливается, — значитъ четыре ужъ било.

Если мальчишка бѣжалъ ужъ очень шибко или на ходу черезъ тумбы прыгалъ, посторонніе считали долгомъ въ окно постучать и пальцемъ погрозиться:

— Что ты, пострѣлъ, озорничаешь?

Такой въ тупичкѣ былъ порядокъ.

Съ утра садились за работу, передъ вечеромъ весной и лѣтомъ выходили посидѣть къ воротамъ и говорили про житейское.

По праздникамъ, случалось, пили.

— На то и праздникъ!

Но если кто выходилъ изъ колеи и напивался въ будни, — того осуждали вечеромъ, сидя у воротъ, „даже удивлялись“:

— Какъ только домовладѣлецъ такого терпитъ?!

Такіе случаи помнились долго, и по нимъ опредѣлялось время.

— Это было... Когда, бишь? Да въ позапрошломъ мѣсяцѣ, еще когда Варсонофьевъ сапожникъ запилъ!

— Ну, вотъ! Когда Варсонофьевъ пилъ! Это было когда Панкратьевъ съ женой скандалилъ!

За временемъ, вообще, въ тупичкѣ наблюдали плохо. Вѣчно спрашивали:

— А какой, бишь, нынче день?

Но за порядкомъ слѣдили строго.

Пѣть пѣсни въ будни считалось не только зазорно,— но и грѣхомъ.

— Чай, будни!

И вдругъ въ тупичкѣ въ будни раздалась пѣсня.

Пришли на Спесивцевъ дворъ золоторотцы, оборванные, ободранные, грязные, въ опоркахъ, и принялись подъ пѣсню бить сваю.

Запѣвалъ высокимъ-высокимъ, тонкимъ фальцетомъ, обдерганный, изъ золоторотцевъ золоторецъ, — для того артелью и выбранный.

И такія сочинялъ запѣвки, что золоторотцы ржали.

— Чисто лошади! — плевались женщины, закрывая окна.

И неслась эта заухабистая пѣсня по тихому и смирному тупичку.

— Хоть бы скорѣе у Спесивцева это безобразіе кончилось! — говорили другіе домовладѣльцы.

Кончилось это для тупичка даже трагедіей.

Соловьевскій сынъ, башмачникъ, молодой малый, слушалъ-слушалъ, какъ золоторотцы съ пѣснями сваи бьютъ, смотрѣлъ-смотрѣлъ на нихъ, ободранныхъ и озорныхъ,— да самъ въ золоторотцы и ушелъ.

Весь тупичокъ жалѣлъ:

— А какой парень-то былъ! Золото! День денской, бывало, не разгибаясь, сидѣлъ!

И весь покой тупичка былъ нарушенъ.

Мальчишку за чѣмъ пошлешь, — мальчишка на золоторотцевъ смотрѣть забѣжитъ, на два часа пропадетъ.

Самъ мастеръ пойдетъ заказъ относить, у Спесивцева дома остановится.

Жена дома безпокоится: „не запилъ бы“.

— Куда на цѣлый день пропалъ?

— Такъ. На золотую роту посмѣяться остановился.

— И житье этимъ золоторотцамъ!—говорили мастера, прислушиваясь къ пѣснѣ.

— Извѣстно, золотая рота! Вольное житье! Ни заботы, ни печали, ни воздыханья! Заработалъ — пей. Пьянъ— лежи.

— Самъ себѣ хозяинъ.

— А тутъ...

И шутъ ихъ знаетъ, — какія мысли неслись по тупичку съ вольной пѣсней.

Только бабы сердились и посматривали на мужей подозрительно:

— Заслушался! Музыка!

И закрывали окна.

— Чего окно-то закрываешь? Пущай!

— Не слыхалъ пьяныхъ бездомниковъ-то?!

Въ одинъ желанный день еще мертвѣе, унылѣе стало въ переулкѣ.

Золоторотцы, съ вольною пѣснею, съ гомономъ, съ шумомъ, — снялись и исчезли. Куда-то въ другое мѣсто.

Словно птицы.

— Слава Те, Господи! — съ облегченіемъ вздохнули бабы.

Мастера съ прежнимъ рвеніемъ принялись за работу.

Не стало разгульной пѣсни.

— Не мѣшаютъ, по крайности!

И осуждали ихъ и ругали ихъ, а слушали.

Слушали, слушали.

И что-то странное просыпалось въ душѣ...

Такъ гуси, степенные и жирные, откормленные на убой, вдругъ вытягиваютъ шеи, поднимаютъ къ небу головы, принимаются махать крыльями и гоготать.

Что случилось?

Въ синемъ небѣ, словно паутина, пронеслась стая сѣрыхъ, дикихъ, — поджарыхъ, голодныхъ, но вольныхъ гусей.

И въ воздухѣ зазвенѣлъ ихъ крикъ, жалобный на стонъ похожій, — но вольный.

И загоготали, всполошились домашніе гуси, сытые, жирные, замахали безсильными крыльями.

Зависть слышится въ этомъ гоготѣ.

Зависть къ сѣрымъ, дикимъ, — поджарымъ, голоднымъ, но вольнымъ гусямъ.

Когда вы читаете Горькаго, мой степенный, спокойный, уравновѣшенный читатель, — не кажется ли вамъ, что гдѣ-то тамъ, надъ вашей головой, высоко-высоко, шумя крыльями, пролетаетъ стая сѣрыхъ, дикихъ, — голодныхъ, но вольныхъ гусей?

И вы слышите плескъ ихъ крыльевъ,—и въ воздухѣ дрожитъ ихъ крикъ. Печальный, на стонъ похожій,— но вольный.

Вольный!

Что такое Горькій?

Когда я читаю Горькаго, — мнѣ представляется тюрьма.

Повѣрка ужъ кончена. Двери заперли. Но спать рано. А говорить не про что: все переговорено людьми, обреченными жить вмѣстѣ.

И вотъ изъ темнаго угла раздается голосъ. Тюремный разсказчикъ „заводитъ свое".

Онъ начинаетъ всегда съ тяжелаго вздоха, иронически и вмѣстѣ съ тѣмъ грустно.

— И какой, я посмотрю, — нонѣ арестантъ пошелъ! Нешто это арестантъ?

Онъ снова вздыхаетъ и дѣлаетъ паузу.

— Нѣтъ арестанта!

Новый вздохъ.

— Вотъ Евстигнеевъ былъ. Вотъ это арестантъ!

И онъ начинаетъ разсказывать про Евстигнеева чудеса.

Вотъ арестантъ! Вотъ бы такого арестанта!

Кто сѣлъ на нарахъ. Кто приподнялъ голову со сложеннаго вчетверо бушлата. Всѣ слушаютъ.

Слушаютъ жадно.

Вотъ арестантъ! Вотъ арестантъ! Вотъ это, можно сказать, — такъ арестантъ!

А посмотрите вы этого Евстигнеева. Онъ сидитъ въ другой камерѣ.

Такъ,—плевый мужичонка и обыкновенный жуликъ. „Мухи, — и тѣ на него садятся", по тюремному выраженію. Бьетъ его, кто хочетъ, дѣлаютъ съ нимъ, что хотятъ. Терпитъ и сноситъ.

Вотъ вамъ и герой.

Евстигнеевъ-то герой? Что онъ сдѣлалъ? Такъ какъ-то, невзначай, нагрубилъ начальству.

И то давно было.

Да жизнь-то такъ сѣра, такъ уныла, такъ однообразно тосклива,—что хочется, нужно, чтобъ Евстигнеевъ былъ героемъ. Чтобъ яркимъ былъ героемъ! Хоть глазу-то на чемъ-нибудь отдохнуть. Все кругомъ такъ сѣро, такъ безнадежно сѣро...

И эти разсказчики, въ фантазіи которыхъ Евстигнеевы становятся героями, — какъ они цѣнятся тюрьмой!

— На муху, сударь вы мой, смотрю съ завистью! — говорилъ мнѣ одинъ старый каторжникъ. — Летаетъ-съ! И муха мнѣ орломъ кажется!

Какъ читаютъ Горькаго?

Такъ каторжники, какъ ни на есть, но накормленные, — какъ ни на есть, но одѣтые,—какой ни на есть, но имѣющіе кровъ, — съ завистью слушаютъ разсказы стараго бродяги о тайгѣ, о томъ, какъ тамъ бродяжатъ.

Тамъ съ голоду пухнутъ, тамъ, весь въ ранахъ, весь въ ссадинахъ лѣзь, лѣзь, безъ конца лѣзь сквозь густую, колючую чащу,—тамъ всего дрожи: и звѣрь задеретъ и свой братъ, умирающій отъ голода бродяга, камнемъ въ голову влѣпитъ, чтобы хоть человѣческаго, да мясца поѣсть.

Но тамъ воля.

И какъ никакъ, а все-таки сытые люди съ завистью слушаютъ о голодномъ.

Горькій—властитель думъ. Спорить нечего.

Но почему?

Скажите, не являлась ли у васъ въ головѣ такая мысль? Безумная, но съ которой и бороться безумно трудно.

Вотъ вы сидите между почтенными людьми, которыхъ вы уважаете, и которые васъ уважаютъ. Они знаютъ, что вы имъ скажете: что-нибудь почтенное. Вы знаете,

что они вамъ отвѣтятъ: тоже что-нибудь очень почтенное.

И вдругъ у васъ въ головѣ просыпается мысль, а въ сердцѣ просыпается безумное желаніе.

Встать, да имъ и сказать... Но что сказать! Но какъ сказать!

Не кучу этихъ условностей, которыми люди обмѣниваются другъ съ другомъ.

А нарѣзать имъ правды, правды, правды. Наговорить того, чего не должно, не слѣдуетъ, не позволительно говорить.

Сказать вслухъ то, что на душѣ,—но что никогда не высказывается.

Сказать все. Плюнуть и уйти.

Куда уйти? Все равно куда. Только совсѣмъ.

Вѣдь жизнь, — во всякомъ кругу, консервативномъ, либеральномъ, радикальномъ, это все равно, — подумайте, — ужасна. Вѣдь ни одинъ каторжникъ никогда не былъ закованъ такъ!

Вѣдь существуетъ даже выраженіе:

— Такъ нельзя думать!

Была ли цѣпь тяжелѣе?

Вы должны думать такъ, какъ думаетъ ваше общество, ваша партія. Говорить только то, что „должно“, что „принято“. Вѣдь вы поступаете всегда только такъ, какъ „слѣдуетъ поступать“.

Развѣ вы живете? Вы — рабъ. Всего, всѣхъ. Общества, своего кружка, жены, — своего лакея.

Потому что вы должны жить такъ, чтобъ вашъ лакей относился къ вамъ съ уваженіемъ.

Неужели у васъ никогда не являлось желаніе,—даже если вы богаты, даже если достигли всего, что можно отъ жизни требовать, даже если вы въ общемъ счастливы, даже если вы любите и любимы,—неужели никогда, ни разу у васъ не являлось желанья, безумнаго желанья

„перемѣнить участь“, какъ говорятъ арестанты, приговоренные къ каторгѣ.

Стать... Ну, я не знаю чѣмъ. Превратиться въ студента Латинскаго квартала, сдѣлаться бродячимъ фотографомъ въ Соединенныхъ Штатахъ, актеромъ захолустной труппы. Вообще самая сумасшедшая мысль.

Но только не быть тѣмъ, чѣмъ вы „должны быть“, не быть съ тѣми, среди кого вы должны быть.

Никогда не являлось такой мысли?

Тогда вы счастливецъ. Но тогда вы не читатель Горькаго.

Человѣкъ, который захотѣлъ бы изучить подробно, глубоко и внимательно „бродячую Русь“, всѣхъ этихъ „непомнящихъ“, открылъ бы много страннаго и много интереснаго.

Среди нихъ не только одни „несчастные“. Много людей, которымъ очень улыбалась жизнь, — но которые ушли отъ жизни, какую они „должны бы вести“, и стали „сами по себѣ“, „героями Горькаго“.

Есть люди, ушедшіе отъ богатства, есть люди, ушедшіе отъ счастливой жизни. Есть люди образованные, очень развитые. Есть бывшіе военные въ хорошихъ чинахъ, врачи, инженеры, адвокаты. Я зналъ среди „босяковъ“ даже одного бывшаго товарища прокурора.

Не думаю, чтобъ во Франціи, напримѣръ, вы могли бы встрѣтить прокурора, который вдругъ пошелъ въ бродяги!

Не думаю, чтобъ гдѣ-нибудь въ мірѣ, кромѣ насъ, вы это встрѣтили.

Гдѣ бы могли создаться легенды о поставленныхъ очень высоко людяхъ, ушедшихъ бродяжить? И гдѣ бы такой легендѣ, главное, повѣрили?

А у насъ вѣрятъ:

— Потому — возможно.

— Почему?

Можетъ-быть, это явленіе атавизма.

Можетъ-быть, это кровь предковъ-кочевниковъ вопіетъ и бурлитъ и протестуетъ противъ всякой осѣдлости.

Кочевая кровь, которой остались капли, но которая сильна и заставляетъ бродить всю остальную.

У одного двѣ капли кочевой крови, — онъ „мѣняетъ участь“.

У другого одна капля, полкапли, и онъ только зачитывается разсказами о тѣхъ, кто „самъ по себѣ“.

— Самъ по себѣ! Въ немъ хватило силъ порвать со всѣмъ и уйти. И стать „самому по себѣ“.

И вѣрить всему героическому, что разсказываютъ про такого человѣка.

Съ завистью вѣритъ.

Зависть, — зависть къ вольному и сильному своей волей человѣку, вотъ что заставляетъ наше общество такъ зачитываться Горькимъ.

Такъ зачитываться имъ спокойныхъ, довольныхъ и уравновѣшенныхъ людей.

Вѣдь и въ жилахъ сытыхъ, жирныхъ, откормленныхъ на убой гусей течетъ одна милліардная часть дикой крови.

Оттого они и начинаютъ безсильно трепыхать крыльями и гогочутъ, вытянувъ шею, — когда въ голубомъ небѣ высоко-высоко, словно паутинка, несется съ жалобнымъ крикомъ стая сѣрыхъ, дикихъ, голодныхъ, но вольныхъ гусей.

„На днѣ“

МАКСИМА ГОРЬКАГО.

ГИМНЪ ЧЕЛОВѢКУ.

„Человѣкъ вотъ правда! Что такое человѣкъ? Это не ты, не я, не они... нѣтъ! Это ты, я, они, Наполеонъ, Магометъ. Понимаешь? Это огромно. Въ этомъ всѣ начала и концы. Все въ человѣкѣ, все для человѣка, все же остальное дѣло его рукъ и его мозга. Человѣкъ! Это великолѣпно. Это звучитъ гордо. Человѣкъ! Надо уважать человѣка. Не жалѣть, не унижать его жалостью. Уважать надо! Выпьемъ за человѣка, баронъ!“

Сатинъ. „На днѣ“. 4-й актъ.

На днѣ гніютъ утонувшіе люди.

Въ ночлежкѣ живутъ какой-то баронъ, прошедшій арестантскія роты, „дѣвица“, гуляющая по тротуару, спившійся актеръ, телеграфистъ, сидѣвшій въ тюрьмѣ за убійство, воръ, „наслѣдственный воръ“, еще отецъ его былъ воромъ и умеръ въ тюрьмѣ.

Отъ нихъ смердитъ.

Бывшій баронъ за рюмку водки становится на четвереньки и лаетъ по-собачьи. Бывшій телеграфистъ занимается шулерничествомъ. Дѣвица „гуляетъ“. Воръ воруетъ.

И они принюхались къ смраду другъ отъ друга.

Баронъ пропиваетъ деньги „дѣвицы“, актеръ пропиваетъ деньги шулера. Воръ у нихъ первый человѣкъ.

— Нѣтъ на свѣтѣ людей лучше воровъ!

— Имъ легко деньги достаются.

— Многимъ деньги легко достаются, да немногіе легко съ ними разстаются.

Имъ не смердитъ другъ отъ друга. Чему возмущаться? Совѣсти?

— Всякій человѣкъ хочетъ, чтобъ *сосѣдъ его* совѣсть имѣлъ.

— Все слиняло, одинъ голый человѣкъ остался.

Люди, какъ видите, „конченные“.

Бывшіе люди.

Все сгорѣло. Груды пепла.

Но дотроньтесь. Пепелъ теплый. Гдѣ-то подъ пепломъ теплится огонекъ. Теплится.

— У всѣхъ людей души сѣренькія, — всѣ подрумяниться хотятъ.

Вотъ это „подрумянить душу“ и есть человѣческое, вѣчно человѣческое, „das ewig menschliches“.

Баронъ подрумяниваетъ себѣ душу тѣмъ, что вспоминаетъ, какъ онъ „благородно“ пилъ по утрамъ кофе со сливками, какъ у него были предки и лакеи.

Актеръ подрумяниваетъ душу тѣмъ, что съ гордостью произноситъ „громкое“ названіе своей болѣзни:

— Мой организмъ отравленъ алкоголемъ!

Не просто пьяница, а нѣчто звучное:

— Организмъ отравленъ алкоголемъ!

Звучитъ „благородно“.

„Дѣвица“ читаетъ благородные романы. Гдѣ все самая возвышенная любовь и самопожертвованіе. И воображаетъ себя на мѣстѣ героинь. И вѣритъ этому.

Телеграфистъ произноситъ „необыкновенныя слова“:

— Органонъ... Транс-цен-ден-тальный,

— Надоѣли мнѣ, братъ, всѣ человѣческія слова. Всѣ наши слова надоѣли. Каждое изъ нихъ слышалъ я, навѣрное, тысячу разъ!

Глупы эти люди, не правда ли? И румяны у нихъ грошевыя?

И вдругъ эти „сѣренькія души“ вспыхиваютъ яркимъ румянцемъ. Не румянцемъ грошевыхъ румянъ. А настоящимъ, человѣческимъ румянцемъ.

Что случилось?

Въ ночлежку пришелъ старикъ бродяга Лука.

И раздулъ пламя, которое таилось подъ грудою пепла.

И изъ этой груды грязи, навоза, смрада, отрепьевъ, гнусности, преступленія вызвалъ человѣка.

Человѣка во всей его красотѣ.

Человѣка во всей его прелести мысли и чувства.

Какъ случилось такое чудо?

Лука не проповѣдникъ.

Лука суетливый старикашка, онъ говоритъ забавно и наивно.

Но каждое его слово сейчасъ же переходитъ въ дѣло.

Онъ проповѣдуетъ дѣлами, и въ этомъ, какъ въ толстовскомъ Акимѣ, его сила.

Лука съ полицейской точки зрѣнія—темная личность. Съ нашей—обыкновенный:

— Потерялъ всякую нравственную брезгливость.

Онъ входитъ со словами:

— Мнѣ все равно. Я и жуликовъ уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха. Всѣ черненькія, всѣ прыгаютъ.

Лука полонъ вѣры въ человѣка.

— А какъ ты думаешь, добьются люди правды?

— Да ужъ разъ взялись, — какъ же не добиться. Люди добьются.

Міра будущаго человѣку бояться нечего:

— Ты, Анна, не бойся. Ты неба не бойся. Преставишься ты, и скажетъ Господь: „Приведите ко мнѣ Анну. Я эту Анну знаю. Эта Анна много страдала, много мучилась въ жизни. Отведите Анну теперь на покой. Пусть Анна отдохнетъ".

У Луки религія человѣка.

Всегда во всемъ у него прежде всего „человѣкъ".

На него, когда онъ былъ сторожемъ, напали съ топоромъ бѣглые каторжники. Онъ „осерчалъ за топоръ". Изъ ружья нацѣлился.

— Бросай топоръ. Наломай вѣтокъ. Пори другъ друга по очереди. Зачѣмъ на человѣка съ топоромъ кидаетесь!

Они падаютъ на колѣни передъ направленнымъ на нихъ дуломъ.

— Покорми насъ. Мы съ голода.

Лука кормитъ ихъ, беретъ къ себѣ. Бѣглые живутъ у него до весны, работаютъ, весной прощаются и уходятъ бродяжить:

— Славные *люди*.

Эта любовь къ человѣку ведетъ его, и ведетъ правильно, даже тамъ, гдѣ онъ, какъ въ туманѣ, ничего не понимаетъ.

— Спившійся актеръ старается припомнить стихотвореніе:

— Самое любимое стихотвореніе! Я всегда его со сцены читалъ! Забылъ! Забылъ!

И это, казалось бы, непонятное для Луки горе сразу находитъ въ его сердцѣ самый настоящій, человѣческій откликъ.

— Какъ не понять? Легко ли! Даже самое любимое для человѣка забыть!

„Дѣвица" рыдаетъ:

— Вѣрно это, все вѣрно написано! Со мной это было! Со мной! Студентъ онъ былъ. Гастошей звали!

Баронъ хохочетъ:

— А въ прошлый разъ звала Раулемъ!

— Въ лаковыхъ сапожкахъ онъ былъ! Съ бородкой!

Лука слушаетъ съ сочувствіемъ.

— Гастошей, говоришь? Въ лаковыхъ сапожкахъ? Скажи, пожалуйста!

„Религія человѣка", который онъ весь пропитанъ, инстинктивно подсказываетъ ему:

— Здѣсь, въ этихъ мечтахъ, самое дорогое для *человѣка.*

„Религія человѣка" подсказываетъ Лукѣ, что какому человѣку сейчасъ нужно.

Боленъ человѣкъ, — его надо отвести на воздухъ. Умираетъ человѣкъ,—его надо успокоить, чтобъ не боялся. Убитъ человѣкъ хочетъ, — ему нужно какъ-нибудь невзначай помѣшать.

Актеръ въ отчаяньи:

— Отравленъ алкоголемъ.

Лука разсказываетъ ему о больницѣ, гдѣ отъ этого лѣчатъ. Есть такая больница:

— Только приходи! Узнаемъ, гдѣ,—и иди.

Онъ ничего не проповѣдуетъ. Онъ суетится и дѣлаетъ.

Онъ говоритъ дѣлая.

Онъ и говоритъ и дѣлаетъ весело, съ шутками, поетъ пѣсни.

Ему, полному „религіи человѣка", свѣтло и радостно. Онъ въ храмѣ своего божества. Кругомъ столько людей. И каждому *можно* помочь.

Для него нѣтъ ни дурныхъ, ни плохихъ, ни ужасныхъ, ни страшныхъ. Для него есть люди. Просто люди. Только люди.

И оттого онъ со всѣми одинаковъ. И оттого онъ веселъ, говоря съ *человѣкомъ.*

— Что-то я тебя не знаю! — говоритъ ему мрачно городовой.

— А другихъ-то людей развѣ всѣхъ знаешь?—весело шутитъ съ нимъ Лука.

— Въ моемъ околоткѣ всѣхъ.

— Ну, такъ это, значитъ, оттого, что не вся земля въ твоемъ околоткѣ.

Лука начинаетъ пѣсню.

— Не вой! — останавливаетъ его одинъ изъ ночлежниковъ.

— А развѣ не любишь, когда поютъ?

— Люблю, когда хорошо.

— А я, значитъ, плохо? Скажи, пожалуйста! А я думалъ, хорошо. Всегда вотъ такъ-то. Человѣкъ думаетъ, что хорошо дѣлаетъ. А другимъ-то видать, что плохо.

И перестаетъ пѣть.

Потому что онъ не можетъ стѣснять *человѣка.* Не можетъ нарушать правъ *человѣка.* Не можетъ доставлять непріятности *человѣку.*

Какъ на свѣтломъ пиру, онъ и въ ночлежкѣ. Потому что кругомъ есть люди.

Къ вору относились всѣ какъ къ вору. Барону кололи глаза:

— Бариномъ былъ!

„Дѣвицѣ“ говорили только:

— Ты кто? Ты вотъ кто!

Актеру:

— Ты пропоица!

Телеграфисту:

— Шулеръ,—и больше ничего.

И вотъ пришелъ человѣкъ, который отнесся къ нимъ, какъ къ людямъ. Только какъ къ людямъ. Увидѣлъ въ нихъ людей. Только людей.

Къ каждому подошелъ:

— Человѣкъ.

Что этому *человѣку* сейчасъ нужно? И что для этого *человѣка* сейчасъ сдѣлать?

— Человѣкъ!

И отъ этого обращенія „человѣкъ“, дремавшій человѣкъ проснулся и поднялся во всей гордости своей, во всей своей прелести мысли и чувства.

Какъ видите, и чуда здѣсь никакого не было.

Лука не создавалъ здѣсь человѣка.

Человѣкъ здѣсь былъ. Человѣкъ спалъ. Человѣкъ проснулся.

И только.

И только душа его, вмѣсто грошевыхъ румянъ, залилась, зардѣлась настоящимъ, человѣческимъ румянцемъ.

И страшно, и радостно, и гордо было пробужденіе человѣка.

Актеръ не захотѣлъ больше жить среди грязи, смрада, паденія и удавился.

Воръ готовъ было бросить свое воровское дѣло:

— Мнѣ съ дѣтства твердили: воръ, воровъ сынъ. Я и говорилъ: я и покажу, какой я воръ. И показывалъ.

Теперь человѣкъ въ немъ потребовалъ человѣческаго къ себѣ отношенія.

— Относись,—говоритъ онъ любимой дѣвушкѣ,—ко мнѣ по-человѣчески, и я человѣкомъ буду.

И когда Сатинъ, бывшій арестантъ, шулеръ, въ ночлежномъ дому, поднялся со своимъ тостомъ:

— Выпьемъ за человѣка, баронъ!

Вы, зритель, почувствовали, что онъ, бывшій арестантъ, шулеръ, ночлежникъ, выше васъ въ эту минуту и умственно и нравственно.

Потому что въ васъ человѣкъ спитъ, а тутъ человѣкъ всталъ, поднялся во весь свой ростъ, во всей красотѣ мысли и чувства.

Кто пробудилъ эти мысли? Кто заставилъ эти умы и чувства работать?

Лука.

Солнце заглянуло въ ночлежку.

И полъ залился солнцемъ, и веселые зайчики заиграли по стѣнамъ. И все стало радостно. И много-много всего освѣтило солнце. И свѣтлы стали закоулки душъ.

Что изъ этого получилось?

Ничего.

Ничего реальнаго.

Дѣвица пойдетъ на тротуаръ. Иначе ее изъ ночлежнаго дома прогонятъ. Васька Пепелъ, отсидѣвъ въ острогѣ, опять воровать примется. Что жъ ему другое дѣлать? Сатинъ, послѣ монологовъ: „человѣкъ, это звучитъ гордо“,—будетъ шулерничать попрежнему.

Жизнь этого требуетъ.

Жизнь такъ сложилась, что они не могутъ быть иными

Только развѣ удавиться, какъ актеръ.

Ничѣмъ не кончилось, ничѣмъ не могло кончиться. Въ жизни ничто не кончается ничѣмъ.

Жизнь идетъ, идетъ, идетъ кругомъ, какъ колесо!

Но среди безпросвѣтнаго мрака была минута,—когда ярко свѣтило солнце.

Но по щекамъ блѣднымъ, исхудалымъ, мертвымъ, — была минута,—разлился яркій, живой, горячій, радостный румянецъ.

Мгновенье! Будь благословенно! Ты было прекрасно.

Что принесла несчастнымъ эта „религія человѣка“.

Спросите у религіознаго человѣка:

— Можно ли, прочитавъ молитву, освободиться ото всѣхъ грѣховъ?

Онъ вамъ скажетъ:

— Надо всю жизнь измѣнить и молиться.

— Значитъ, прочитать молитву безполезно? Не нужно?

— Нѣтъ. Нужно! Нужно! Нужно! Пусть даже среди грѣховъ, на одну минуту въ сердцѣ человѣка воскреснетъ Богъ! И наполнится душа его Богомъ! Значитъ,

въ этой душѣ живетъ Богъ! Это важно! Это нужно! Это важнѣе! Это нужнѣе всего! Безъ этого нельзя!

На минуту проснулся человѣкъ.

Во всей своей человѣческой прелести, во всемъ своемъ человѣческомъ совершенствѣ.

И дивное зрѣлище неописанной красоты представилось нашимъ глазамъ.

Подъ грязью, подъ смрадомъ, подъ гнусностью, подъ ужасомъ, въ ночлежкѣ, среди отребьевъ:

— Живъ человѣкъ!

Это пьеса—пѣснь. Это пьеса—гимнъ человѣку.

Она радостна и страшна.

Страшна.

Видя „на днѣ“ гніющихъ, утонувшихъ людей, вы говорите своей совѣсти:

— Что жъ! Они ужъ мертвые. Они ужъ не чувствуютъ.

Вы спокойны, что бы съ нимъ ни дѣлалось.

И вотъ вы въ ужасѣ отступаете:

— Они еще живые!

Человѣкъ и его подобіе.

Индусская легенда.

(Посвящается Максиму Горькому и г. Скитальцу.)

Когда Магадэва создалъ человѣка,—человѣка привѣтствовала вся природа.

По пути его на землѣ вырастала трава, чтобъ человѣку не жестко было ступать.

Когда человѣкъ проходилъ мимо, зеленыя лужайки улыбались ему цвѣтами.

Солнце грѣло человѣка, а пальмы расправляли свои листья, когда человѣкъ садился отдохнуть въ ихъ тѣни.

Птицы хоромъ гремѣли самыя лучшія пѣсни при его приближеніи.

А маленькіе воробьи и трясогузки скакали впереди и кричали:

— Человѣкъ идетъ! Человѣкъ идетъ!

Бананы протягивали ему свои плоды:

— Не хочешь ли ты ѣсть?

И, завидѣвъ человѣка, на кокосовой пальмѣ спѣшилъ созрѣть плодъ и упасть къ ногамъ человѣка.

Робкія серны выглядывали изъ-за ліанъ, чтобы посмотрѣть на человѣка.

Человѣкъ былъ скроменъ и застѣнчивъ.

Онъ думалъ, — такъ какъ Магадэва далъ ему безпокойную, пытливую мысль, онъ думалъ:

— За что мнѣ все это?

Онъ старался не ступать по травѣ, которая вырастала на пути,—потому что, касаясь этой травы, краснѣли его ноги.

Его уши краснѣли, когда раздавались гимны птицъ.

Краснѣли руки, когда онъ дотрогивался до бананововъ и кокосовыхъ орѣховъ, падавшихъ на его пути.

Онъ потуплялъ глаза, чтобъ не видѣть воробьевъ и трясогузокъ, скакавшихъ впереди него и кричавшихъ:

— Человѣкъ идетъ! Человѣкъ идетъ!

Потупивъ голову, боясь дышать,—онъ проходилъ мимо лужаекъ, на которыхъ въ честь него расцвѣтали душистые цвѣты.

И боялся глядѣть по сторонамъ, чтобъ не увидать любопытныхъ и восхищенныхъ взглядовъ спрятавшихся въ ліанахъ пугливыхъ сернъ.

Онъ стыдливо и съ замѣшательствомъ думалъ:

— Чѣмъ я заслужилъ все это?

А цвѣты продолжали расцвѣтать при его появленіи, пальмы расправлять свои листья, когда онъ садился подъ ними, маленькіе воробьи и трясогузки озабоченно скакать впереди и всѣхъ предупреждать:

— Человѣкъ идетъ! Человѣкъ идетъ!

Пугливыя серны не переставали любоваться имъ своими прекрасными глазами.

Тогда человѣкъ подумалъ:

— Они видятъ меня и воздаютъ почести. А я не понимаю, за что. Быть-можетъ, это потому, что я не вижу себя?

И человѣкъ сталъ думать:

— Какъ бы мнѣ увидѣть себя? Что во мнѣ достойнаго такихъ восторговъ.

Заснувшій прудъ отражалъ въ своей блестящей глади деревья и цвѣты, росшіе на берегу, синее небо и бѣлыя, плывшія по небу, облака.

Человѣкъ сказалъ себѣ:

— Вотъ!

И съ вопросомъ наклонился надъ спящею блестящею гладью воды.

И вода отвѣтила ему:

— Ты прекрасенъ!

Въ водѣ отразилось лицо, полное пытливой мысли, и глубокіе глаза, горѣвшіе огнемъ.

Человѣкъ отшатнулся и сказалъ:

— Теперь я начинаю понимать! Это не глупый воробей, не трясогузка. Водѣ можно повѣрить. Вода не станетъ лгать. Вѣдь не лжетъ же она, отражая небо, облака, деревья и цвѣты.

Онъ снова наклонился надъ водой и долго смотрѣлъ на лицо, ему новое, до сихъ поръ незнакомое.

— А дѣйствительно, — сказалъ человѣкъ, — я удался Магадэвѣ. И Магадэва имѣетъ право гордиться, что меня сотворилъ! Онъ выбралъ для этого удачный мигъ. Мигъ, когда былъ полонъ, видно, вдохновенья! Должно-быть, каждое движеніе мое такъ же полно красоты, если все восхищается, глядя на меня?

И, повернувшись спиною къ солнцу, человѣкъ сталъ спрашивать землю:

— Красивъ ли я?

Онъ дѣлалъ тѣлодвиженіе, шелъ, поднималъ руки къ небу, протягивалъ ихъ, словно срываетъ цвѣты и плоды.

И глядѣлъ на свою тѣнь на землѣ.

И земля отвѣчала человѣку:

— Ты красивъ! Красиво каждое твое движенье!

Тогда, налюбовавшись своею тѣнью, человѣкъ радостно сказалъ:

— Теперь я понялъ все!

И крикнулъ воробьямъ и трясогузкамъ:

— Впередъ! Кричите громче. Я иду!

Человѣкъ сталъ гордъ.

Ложась отдохнуть подъ пальмами, онъ съ неудовольствіемъ глядѣлъ вверхъ:

— Какія глупыя пальмы! Почему онѣ не достаточно широко раскрыли свои листья? Знаютъ ли онѣ еще, кто подъ ними лежитъ?

Проходя мимо лужаекъ, расцвѣтавшихъ цвѣтами, онъ останавливался и считалъ цвѣты.

— Сегодня не особенно много. Можно было бы расцвѣсти и посильнѣе! Почему на этомъ стебелькѣ нѣтъ цвѣтка?

И когда воробьи и трясогузки робко чирикали ему въ отвѣтъ:

— На этой травкѣ никогда не бываетъ цвѣтовъ!

Человѣкъ сердился:

— Могла бы расцвѣсти, когда я приближаюсь! Зачѣмъ иначе и расти такой глупой травѣ? Просто, вы виноваты... Не достаточно громко кричали о моемъ приближеніи! Вы созданы Магадэвой для того, чтобы скакать впередъ и возвѣщать, что я иду! А вы! Какъ исполняете вы заповѣдь Магадэвы?

Онъ отбрасывалъ ногой падавшіе на его пути кокосовые орѣхи:

— Эти недостаточно крупны для меня!

И отъ гордости частенько голодалъ, потому что не хотѣлъ протянуть руки къ бананамъ, которые огромными кистями тянулись къ нему:

— Могли бы быть для меня и пожелтѣе!

На лицѣ его теперь часто было написано недовольство.

Онъ оглядывался кругомъ:

— Почему мало сернъ выглядываетъ изъ ліанъ на меня?

Воробьи и трясогузки съ трепетомъ отвѣчали ему:

— Онѣ пугливы, человѣкъ!

— Въ такомъ случаѣ, прикажите замолчать птицамъ. Это онѣ своимъ шумомъ и гамомъ пугаютъ робкихъ сернъ

и мѣшаютъ имъ любоваться мною. Да и надоѣли мнѣ пѣсни этихъ глупыхъ птицъ! Онѣ поютъ недостаточно стройно и красиво въ честь меня. Пусть лучше молчатъ, чѣмъ пѣть гимны, не достойные меня по красотѣ!

Если человѣкъ просыпался до восхода солнца, онъ сердился:

— Чего медлитъ это солнце? Чего оно теряетъ даромъ время, вмѣсто того, чтобы прійти любоваться мною? Вотъ я уже не сплю,—а оно еще не взошло.

Когда спускался вечеръ, и въ небѣ загорались звѣзды, человѣкъ смѣялся и привѣтливо махалъ имъ рукой.

— Ничего, ничего! Высыпайте толпой на небо! Вамъ захотѣлось полюбоваться мною? Выходите толпами и смотрите!

Такъ гордился человѣкъ своей красотой.

Магадэва на небѣ много смѣялся надъ гордостью человѣка,—но, наконецъ, Магадэвѣ это надоѣло.

— Этому надо положить предѣлъ!— сказалъ Магадэва.—Это становится глупымъ!

И Магадэва создалъ обезьяну.

Проворно она спустилась съ дерева и пошла рядомъ съ человѣкомъ.

— Это что за чучело?—удивился человѣкъ, и что-то знакомое показалось ему въ фигурѣ, шагавшей рядомъ съ нимъ.

Все кругомъ съ удивленіемъ смотрѣло на человѣка и обезьяну, шедшихъ рядомъ.

Человѣкъ нюхалъ цвѣты, расцвѣтавшіе по пути, и обезьяна нюхала ихъ.

У человѣка на лицѣ было написано удовольствіе, и у обезьяны на лицѣ было написано удовольствіе.

Пугливыя серны, выглядывавшія изъ-за лianъ, спрашивали съ недоумѣніемъ другъ у друга:

— Кто же изъ нихъ человѣкъ?

И даже воробьи и трясогузки скакали теперь задомъ напередъ и съ удивленіемъ смотрѣли то на того, то на другого, крича:

— Вотъ идутъ люди! Люди идутъ! Люди!

Человѣкъ вспомнилъ свое изображеніе въ водѣ, поглядѣлъ на обезьяну и съ досадой сказалъ самому себѣ:

— А вѣдь похожи!

Но онъ не понималъ:

— Какъ же такъ? Я красивъ,—это безобразно. А все-таки мы похожи другъ на друга?

Онъ сѣлъ и погрузился въ глубокую думу.

Обезьяна сѣла рядомъ и тоже сдѣлала видъ, что погрузилась въ глубокую думу.

Человѣкъ пошевелился.

Обезьяна пошевелилась.

Человѣкъ всталъ и съ досадой быстро пошелъ прочь.

Но и обезьяна вскочила и также быстро пошла съ нимъ рядомъ.

Человѣкъ расхохотался, глядя на ея раздосадованный и озабоченный видъ.

Лицо у обезьяны все сморщилось, и она схватилась за бока.

Человѣкъ пересталъ смѣяться.

— Неужели это, дѣйствительно, такъ безобразно?

И обезьяна нахмурилась.

Человѣкъ отбрасывалъ попадавшіе на его пути кокосовые орѣхи.

Обезьяна дѣлала то же.

Человѣкъ снова не могъ удержаться отъ хохота:

— Неужели же такъ смѣшно то, что я дѣлаю?

И пересталъ дѣлать это.

Обезьяна шла рядомъ и повторяла каждое его движеніе.

И человѣкъ съ ужасомъ видѣлъ:

— Точь въ точь, какъ я!

Насталъ вечеръ.

И когда человѣкъ, увидѣвъ звѣзды, по обыкновенію привѣтливо и снисходительно замахалъ имъ руками, обезьяна тоже подняла переднія руки кверху и тоже замахала,—такъ что человѣкъ расхохотался и сталъ кататься по травѣ:

— Великій Магадэва? Какъ это смѣшно, и глупо, и некрасиво!

Такъ обезьяна повторяла каждое движеніе человѣка,—и человѣкъ боялся уже сдѣлать лишнее движеніе, чтобъ его не повторила обезьяна, и чтобъ оно не вышло глупымъ и смѣшнымъ.

Человѣкъ сталъ скромно ходить по землѣ,—боясь, чтобъ обезьяна, ходившая рядомъ, не сдѣлала сейчасъ же смѣшного движенія.

Онъ боялся взглянуть по сторонамъ, потому что ему стыдно было пугливыхъ сернъ, видѣвшихъ его и обезьяну идущими рядомъ.

Когда загремѣлъ хоръ птицъ, человѣкъ покраснѣлъ:

— Что жъ во мнѣ красиваго, разъ обезьяна похожа на меня?

И онъ стыдливо старался не топтать травы, росшей на его пути. Скромными улыбками отвѣчалъ на цвѣты, которыми улыбалась ему земля.

И, вспоминая каждое свое движеніе, какъ его передразнивала обезьяна, думалъ про себя:

— За что, за что мнѣ всѣ эти почести?

Человѣкъ сталъ вновь скроменъ и стыдливъ.

Такъ, индусы, все создано Магадэвой со смысломъ и на пользу. Все.

Памяти Шеллера.

I.

Михайловъ-Шеллеръ...

Какое милое, какое хорошее имя.

Для людей нашего поколѣнія въ немъ много музыки.

Оно звучитъ, какъ отголосокъ мелодіи, которая доносится издалека-далека.

Оно звучитъ, какъ „юность".

Шеллеръ...

Мнѣ вспоминается маленькая комната, которую еще зовутъ, къ моему негодованію, „дѣтской".

Лампа подъ зеленымъ абажуромъ. Взятая изъ библіотеки книга. Юноша, почти мальчикъ. Его мысли.

Моя мать умирала.

Черезъ недѣлю, черезъ двѣ „все это кончится".

Изъ этого милаго, теплаго дома, въ которомъ я выросъ,—откроется дверь на улицу, и изъ открытой двери пахнетъ холодомъ, въ нее глянетъ тьма.

— Живи!

Черезъ недѣлю, черезъ двѣ, я останусь одинъ.

Въ цѣломъ мірѣ одинъ.

И думалъ ли знаменитый писатель, который тогда владѣлъ сердцами всѣхъ юношей,—думалъ ли онъ, занятый своими журнальными работами, что онъ единственный другъ у молодого человѣка, у котораго за стѣной умирала мать.

Что онъ одинъ разрѣшаетъ всѣ жизненные вопросы для юноши, сидящаго за его книгою въ комнатѣ, которую все еще называли „дѣтской".

Жизнь...

Что я зналъ о ней?

Что знали о жизни мы всѣ тогда, юноши моихъ лѣтъ,—кромѣ того, что намъ разсказывалъ о ней Шеллеръ?

Это было время, когда въ библіотекѣ задолго надо было записываться на его книги.

И мнѣ рисовалась маленькая комнатка. Еще меньше дѣтской.

Комната отъ жильцовъ.

Столъ, стулъ, кровать. Только самое необходимое.

Почти келья.

Нѣсколько портретовъ, дорогихъ, какъ святыня, всякому интеллигентному русскому человѣку.

Лампа и книга, взятая изъ библіотеки.

И эта лампа, освѣщающая раскрытую книгу, казалась мнѣ солнцемъ, освѣщающимъ міръ. И не было для меня картины въ мірѣ прекраснѣе этой.

Интеллигентный трудъ, скромный и безвѣстный, тяжелый и упорный.

Непремѣнно тяжелый. Въ другомъ не было прелести.

Трудъ на слабыхъ, на безпомощныхъ, на обиженныхъ.

Трудъ, которому отданы всѣ силы, вся жизнь.

И измученному отъ тяжелаго труда отдыхъ — книга, разговоръ о ней съ такими же маленькими, скромными, незамѣтными тружениками.

Такою рисовалась жизнь.

Такою рисовалась она этому юному,—этимъ юнымъ читателямъ Шеллера.

Не въ Богъ вѣсть какую надзвѣздную высь уносилъ насъ онъ.

Но поэзію скромнаго труда, но сладость самоотверженія, незамѣтнаго для другихъ,—рѣдко кто умѣлъ такъ написать, какъ Шеллеръ.

Это не было солнце, ярко освѣщавшее намъ міръ.

Это была, скорѣе, луна, свѣтившая намъ въ сумракѣ нашей юности,—когда передъ нами открывалась дверь родительскаго дома:

— Иди, живи.

Луна съ ея мягкимъ, нѣжнымъ свѣтомъ.

И лучи этого свѣта, мягкіе, и,—тутъ разница съ лучами луны,—теплые лились намъ въ душу.

Такой рисовалась намъ жизнь, которою стоитъ жить.

Ну-съ, гдѣ же теперь этотъ юноша, читатель Шеллера? Гдѣ его комнатка? Его желѣзная постель съ сѣрымъ байковымъ одѣяломъ? Его лампа? Его книга?

— Что вышло изъ того поколѣнія, которое воспиталось на Шеллерѣ?

Увы! Вся наша жизнь состоитъ изъ того, что мы даемъ ганнибаловы клятвы надъ книгами нашихъ любимыхъ писателей, не сдерживаемъ этихъ клятвъ и каемся.

Раскаиваться, всегда, это — удѣлъ интеллигентнаго русскаго человѣка.

Раскаяніе, это—его занятіе, его профессія, его „образъ жизни“.

Servus servorum, такъ сказать, „подчеловѣкъ“ грезился идеаломъ намъ, шеллеровскимъ читателямъ, какъ теперь многимъ юношамъ грезится „сверхчеловѣкъ“.

Этотъ идеалъ, навѣянный тогда шеллеровскими произведеніями, съ теченіемъ времени, конечно, измѣнился, кое-гдѣ потускнѣлъ и выцвѣлъ, кое-гдѣ окрасился въ болѣе яркіе цвѣта, кое въ чемъ упалъ, кое въ чемъ углубился, кое въ чемъ выросъ, кое въ чемъ сталъ шире.

Но мягкій, теплый свѣтъ, запавшій въ душу, все же остался въ ней, и мы, люди того поколѣнія, чувствуемъ въ душѣ теплоту отъ этихъ лучей.

Видѣть поэзію въ скромномъ трудѣ, чувствовать и подмѣчать скромное, невидное постороннимъ, самопожертвованіе маленькаго труженика.

„Это „шеллеровскіе лучи“, запавшіе намъ въ нашей юности.

Когда мы видимъ маленькаго труженика, скромнаго, незамѣтнаго, полезнаго, — намъ чудится:

— Шеллеровскій типъ!

Мы видимъ поэзію въ его скромномъ трудѣ, мы умѣемъ найти самопожертвованіе въ его безвѣстномъ подвигѣ.

Мы лучше понимаемъ его. Онъ ближе намъ.

Вѣдь мы ужъ давно любимъ его.

Мы охотнѣе придемъ къ нему на помощь, вступимся за него, если это ему нужно, если мы это можемъ.

И если мы спросимъ себя:

— Почему мнѣ такъ близки, такъ дороги, такъ милы и такъ понятны эти люди?

Мы, быть-можетъ, съ благодарностью отвѣтимъ:

— Шеллеръ былъ первый, кто заставилъ насъ полюбить этихъ людей.

Кто знаетъ, быть-можетъ, если бъ не было Шеллера въ нашей юности,—мы были бы еще хуже, чѣмъ мы есть.

Это не былъ набатъ, призывавшій къ героической борьбѣ.

Это былъ утренній звонокъ, призывавшій къ труду и доброму дѣлу, прозвучавшій на зарѣ нашей юности.

Вотъ minimum того, что сдѣлалъ Шеллеръ для поколѣнія, воспитавшагося на его произведеніяхъ.

И если въ нашемъ поколѣніи очень сильна ненависть, очень сильно презрѣніе ко всему фарисейскому, ко всему показному, ко всему рекламирующему, ко всему наглому, ко всему, прикрывающемуся громкими словами, бездушному и безсердечному внутри, — быть-можетъ, и за это мы должны благодарить отчасти Шеллера.

Быть-можетъ, я сейчасъ съ трудомъ разсказалъ бы даже содержаніе тѣхъ шеллеровскихъ повѣстей, которыя въ юности перечитывалъ по нѣскольку разъ.

Это недостатокъ просто памяти.

Память сердца лучше.

Я не могъ бы назвать фамилій этихъ героевъ, самыя ихъ фигуры исчезли изъ моей памяти, но впечатлѣнія, которыя они вызывали, остались въ душѣ.

Немного забавно самому, — я до сихъ поръ сохранилъ ненависть и презрѣніе, и величайшее отвращеніе къ титулующимъ себя филантропами, къ ихъ обществамъ, къ ихъ затѣямъ.

Къ этимъ благотворителямъ, которые, давая голодной семьѣ корочку хлѣба, спѣшатъ отдернуть свою святую руку, чтобы не замараться.

Типъ, который такъ великолѣпно умѣлъ рисовать Шеллеръ. Типъ, съ которымъ было достаточно познакомиться по Шеллеру, чтобъ возненавидѣть на всю жизнь.

Разъ какъ-то я увлекся было однимъ благотворительнымъ обществомъ. Его программой, его людьми.

Оно показалось мнѣ не такимъ, какъ другія.

Я написалъ даже о немъ статью, достаточно прочувствованную.

Но когда мнѣ принесли корректуру, мнѣ вспомнился Шеллеръ.

Мнѣ показалось это кому-то чему-то измѣной.

Я перечиталъ статью:

— Кажется, я правъ!

А все-таки лучше зачеркнуть...

И я зачеркнулъ ее, иронически улыбнувшись надъ собой, дружески улыбнувшись своей юности.

Ну, а потомъ вышло, что и это общество, такъ увлекшее многихъ вначалѣ, оказалось тѣмъ же, чѣмъ и всѣ другія.

Ты былъ правъ, другъ и наставникъ моей юности, предостерегая отъ фарисейства, отъ лицемѣрія, скрытыхъ подъ очень красивыми фразами.

Ты былъ правъ, говоря:

— Не вѣрьте фирмѣ, не вѣрьте рекламѣ, не вѣрьте этимъ бутафорскимъ громамъ и бенгальскимъ огнямъ. Все ложь, все лицемѣріе. Вѣрьте только въ маленькаго, незамѣтнаго, скромнаго труженика. Только въ него.

Быть-можетъ, очень субъективно то, что я говорю. И я въ такомъ случаѣ прошу прощенья у читателя.

Но мнѣ думается, что многіе изъ людей моего поколѣнія, прочитавъ эти строки, увидали бы въ нихъ отраженіе своихъ ощущеній.

Вѣдь наша юность прошла при Шеллерѣ.

И „Шеллеръ“ звучитъ намъ, какъ „юность“.

II.

Михайловъ...

Это уже звучитъ иначе.

„Шеллеръ“, это — та нота, которой начиналась мелодія тихая и ясная.

„Михайловъ“, это — уже аккордъ изъ симфоніи.

Изъ симфоніи, которая казалась героической тогда, о которой теперь можно вспомнить съ улыбкой безъ горечи.

Такое было время.

Теперь г. Нотовичъ дѣлаетъ Бокля „доступнѣе“ для взрослыхъ.

Тогда гимназистъ четвертаго класса, не читавшій „Исторіи цивилизаціи Англіи“, считался „отсталымъ“.

Въ пятомъ классѣ мы вырабатывали уставъ рабочаго банка „по Прудону“.

И среди излюбленныхъ книгъ, обязательныхъ для прочтенія всякому „мыслящему“ юношѣ, была „Исторія пролетаріата во Франціи“ Михайлова.

— Онъ читаетъ уже „Исторію пролетаріата“.

Это было въ тѣ времена куда большимъ аттестатомъ зрѣлости, чѣмъ „аттестатъ зрѣлости“.

Не зная хорошенько, что такое „исторія“, что такое „пролетаріатъ“ и что такое „Франція“, мы читали и зачитывались этой книгой.

И она больше говорила намъ, чѣмъ все, что было говорено въ школѣ.

Думали ли создатели классицизма, куда пойдетъ молодая мысль, жаждущая знанья, страстная, сгорающая отъ любопытства,— куда она пойдетъ, куда она бѣжитъ отъ ихъ классической пустыни.

Насъ заставляли учить Цицерона, а мы дѣлались „Катилинами“.

Не забавно?

И вотъ на экзаменѣ исторіи при переходѣ изъ четвертаго въ пятый классъ вашъ покорнѣйшій Катилина вынимаетъ билетъ:

„Первая французская революція“.

Можете себѣ представить, какъ я задрожалъ.

Вотъ когда я все разскажу.

Было часа два. Измученный экзаменомъ, нашъ „историкъ“ К. лѣниво протянулъ руку за моимъ билетомъ:

— Ну, что у васъ тамъ?

— Великая французская революція!

— Первая французская революція! — небрежно сказалъ К.— Ну, разсказывайте!

— Великая французская революція...— съ удареніемъ повторилъ я.

И пошелъ!

Даже усталый вконецъ К. поднялъ голову:

— Позвольте! Позвольте! Да вы по какому же, собственно, источнику готовились?

— По „Исторіи пролетаріата во Франціи“,—заносчиво отвѣчалъ я.

К. только откинулся на спинку кресла:

— Ого!

Онъ улыбнулся:

— По Иловайскому надо готовиться. Ну, да ладно. Разскажите-ка лучше про битву у Калки, что вы знаете?

И, глотая слезы обиды, мнѣ пришлось разсказывать про битву при Калкѣ.

Такъ К. и не узналъ истины про французскую революцію.

А жаль!

Онъ, къ слову сказать, былъ магистромъ исторіи, долженъ былъ получить каѳедру, но не получилъ, вслѣдствіе „исторіи“...

Не поручусь, что мы знали,— что Михайловъ, авторъ „Пролетаріата“, тотъ же Михайловъ, который пишетъ романы.

Быть-можетъ, многіе изъ насъ при такомъ извѣстіи исполнились бы величайшаго изумленія:

— Этого не можетъ быть!

Михайловъ-романистъ, — это была тихая, умиленная молитва трудý, помощи ближнему, любви.

Въ „Пролетаріатѣ“ для насъ гудѣлъ набатъ.

Для насъ...

Прочтите, какъ тиха и спокойна эта книга.

Въ ней нѣтъ ни трубныхъ звуковъ ни грохота барабановъ.

Почему же это слышалось намъ тогда?

Время было такое.

Возьмите тлѣющій уголекъ, опустите его въ кислородъ, — онъ вспыхнетъ яркимъ и сильнымъ пламенемъ.

Воздухъ былъ такой.

III.

Я не имѣлъ счастія лично знать Александра Константиновича.

Счастія, потому что это было, вѣроятно, большое счастіе знать его.

Я слышалъ о немъ безпрестанно, слышалъ отъ молодыхъ людей, новичковъ, избравшихъ это безконечно дорогое, это безконечно трудное дѣло — литературу.

Отъ молодыхъ людей, блѣдныхъ, изголодавшихся, холодно одѣтыхъ, почти съ отчаяньемъ во взглядѣ.

Какъ тяжело положеніе молодого, начинающаго литератора.

Особенно, если весь его багажъ, привезенный изъ провинціи, состоитъ изъ тетрадки стиховъ.

Стиховъ, въ которыхъ больше души, чѣмъ подчасъ цензуры, и въ которыхъ чувство иногда ярче сверкаетъ, чѣмъ риѳма.

Но пусть стихи будутъ и превосходны!

Въ одной редакціи требуютъ „имени“.

Въ другой не берутъ отъ чужихъ:

— Своихъ много.

Тамъ сидятъ грозные судьи, а не просто редакторы.

Явившагося къ нимъ молодого поэта они начинаютъ „судить“, словно онъ не стихи написалъ, а человѣка зарѣзалъ.

— Въ этомъ молодомъ человѣкѣ я замѣчаю что-то такое... этакое...

Въ другой редакціи сидитъ господинъ, который говоритъ:

— А, валяйте! Что хотите! Какъ хотите! Не все ли одно?

Избави Богъ всякій молодой талантъ отъ такого редактора для начала.

Любую скрипку онъ превратитъ въ балалайку.

Тамъ редактора можно видѣть всегда, но онъ возвращаетъ обыкновенно рукописи не читая.

— Не годится.

— Почему?

— Голубчикъ, вы видите, сколько ко мнѣ ходитъ народу. Не могу же я вступать со всѣми въ пространныя объясненія!

Тамъ къ министру легче попасть, чѣмъ къ редактору.

И для всѣхъ этихъ голодныхъ подданныхъ Аполлона А. К. Шеллеръ былъ „Парнасскимъ консуломъ“.

Они шли къ нему.

Они вели къ нему одинъ другого.

И онъ ихъ всѣхъ радушно принималъ.

Это былъ старосвѣтскій литераторъ.

Не изъ тѣхъ, которые сверкаютъ въ свѣтѣ, и не изъ тѣхъ, которые имѣютъ вѣсъ въ высшихъ кругахъ.

У него собиралась за стаканомъ чая своя братія, и говорили о литературѣ.

Онъ ласково, радушно принималъ юнаго собрата, умѣлъ обласкать, ободрить.

Охотно помогалъ совѣтомъ... и не однимъ совѣтомъ.

Онъ печаталъ ихъ стихи въ журналѣ, который редактировалъ.

А его старушка-сестра кормила этихъ дѣтей Аполлона какими-то, вѣроятно, особенно вкусными булками домашняго печенья.

Вѣроятно, особенно вкусными,—потому что поэты мало о чемъ такъ восторженно разсказывали, какъ объ этихъ булкахъ.

Здѣсь отогрѣвали этихъ несчастныхъ юношей, которымъ грозилъ смертью петербургскій холодъ.

И сколько молодыхъ поэтовъ отогрѣлось у этого милаго очага.

Кто изъ нихъ не отогрѣвался тамъ? Кто не вспомнитъ съ сердцемъ, полнымъ слезами благодарности, объ этомъ истинномъ „другѣ юности“.

На похоронахъ Шеллера.

Большая, высокая красивая церковь Митрофаніевскаго кладбища.

Солнечный свѣтъ изъ купола.

Среди пальмъ красивый металлическій гробъ.

Мудрое лицо мертвеца.

Смерть всѣхъ дѣлаетъ аристократами, она заостряетъ черты лица и придаетъ имъ аристократическую тонкость.

Тѣло Шеллера было подвергнуто замораживанію.

Это не трупъ. Это даже не спящій человѣкъ. Даже не задумавшійся съ закрытыми глазами.

Это спокойствіе знанія.

Мнѣ вспоминается одно выраженіе, которое я слышалъ отъ брамина:

— Не думаетъ камень и не думаетъ Богъ. Но недуманье камня не есть недуманье Бога. Камень не думаетъ, потому что онъ не можетъ думать. Богъ не думаетъ, потому что Онъ все знаетъ.

Это спокойствіе знанія, которое даетъ лицу мертвеца выраженіе такое мудрое, простое, спокойное и величественное.

Въ храмѣ было много народу, пришедшаго по случаю престольнаго праздника, и очень-очень немного людей, явившихся ради Шеллера.

И безпрестанно слышался вопросъ:

— Кого это хоронятъ?

Гробъ подняли и понесли къ мѣсту послѣдняго упокоенія.

Къ мѣсту, которое Шеллеръ для себя выбралъ, приготовилъ и любилъ.

Говорятъ, что, заѣхавши къ Шеллеру на новый годъ утромъ, его нельзя было застать дома.

Каждый новый годъ рано поутру онъ ѣздилъ на свою могилу.

Онъ ждалъ смерти спокойно, съ яснымъ взоромъ, съ привѣтливой улыбкой.

Какъ человѣкъ, который здѣсь сдѣлалъ все, что онъ могъ, что долженъ былъ сдѣлать.

Гробъ опустили въ землю, отслужили литію, и надъ открытой могилой раздался тихій, взволнованный голосъ:

„Вейнбергъ-младшій“, г. Быковъ прочелъ прочувствованные стихи.

Затѣмъ раздался голосъ немного истерическій.

Это читалъ г. Фофановъ свои красивые и звучные стихи.

Затѣмъ съ безконечными паузами прочла дама стихи, въ которыхъ риѳмовала:

„Люди пошлые“ и „критики дошлые“.

Тихо, никому неслышно сказана была мужская рѣчь, за нею дамская.

И раздался громкій голосъ:

— Со смертью Шеллера я потерялъ все, что было у меня въ жизни... Я, господа, не писатель... Я просто человѣкъ семидесятаго вѣка... То-есть, я хотѣлъ сказать—семидесятыхъ годовъ... Этотъ гробъ служилъ мнѣ всю жизнь...

Всѣ съ удивленіемъ переглянулись.

— То-есть человѣкъ, который лежитъ въ этомъ гробу, служилъ мнѣ всю жизнь... Я все теряю въ жизни...

Въ голосѣ не-писателя послышалась слеза.

Увы! Пьяная слеза.

Не-писатель былъ пьянъ безнадежно.

— Уберите его! — послышались голоса.

Всѣмъ было гадко и скверно.

А онъ продолжалъ со слезами:

— Извините меня, господа, что я не умѣю говорить... но почтите писателя...

И въ концѣ концовъ, говорятъ, началъ кланяться въ ноги.

— Да уберите же его! — говорили ближайшимъ сосѣдямъ.

А мнѣ вспоминался юбилей покойнаго Григоровича.

Юбилейный обѣдъ былъ конченъ. Григоровичъ обходилъ залы и благодарилъ присутствующихъ.

Какъ вдругъ кто-то схватилъ его за ноги.

Изъ-подъ стола вылѣзъ мертвецки-пьяный интеллигентъ, обнималъ колѣни Григоровича, плакалъ и вопилъ:

— Я не писатель... Но я сынъ Антона-Горемыки и его кобылы... Благодарю васъ, Дмитрій Васильевичъ...

Григоровича насилу отняли.

А „сына Антона-Горемыки“ принялись выводить.

— Уйдите, вы пьяны!

— Я пьянъ?! Пьянъ! Но почему я пьянъ? — величественно спрашивалъ онъ.

И, ударивъ себя кулакомъ въ грудь, со слезами восклинулъ:

— Отъ психологіи я пьянъ! Завѣтовъ я не сдержалъ! И пью! Отъ психологіи пью!

Психологически пьянаго человѣка вывели, и онъ долго еще разъяснялъ швейцарамъ:

— Это понять надо, почему русскій интеллигентный человѣкъ пьетъ! Отъ психологіи онъ пьетъ. Потому

психологіи у него вò, а рюмки у васъ маленькія... психологіи вò, а рюмки маленькія...

Такова ужъ, видно, участь русскаго писателя.

Видѣть около себя представителя пьющей отъ психологическихъ причинъ русской интеллигенціи!

Будить, будить ее всю жизнь, а проснется и напьется...

Этимъ глупымъ анекдотомъ закончилось все на могилѣ Шеллера.

Было тяжело, было печально.

К. В. Назарьева.

Сегодня, открывъ газету, я прочелъ:

— Въ ночь на 14 декабря скончалась послѣ тяжкой и продолжительной болѣзни одна изъ русскихъ писательницъ Капетолина Валеріановна Назарьева...

И никогда еще мое сердце, сердце фельетониста, не сжималось съ такою тоскою.

Я никогда не видѣлъ Назарьевой. Я не зналъ, была она молода или стара, интересна или не интересна въ бесѣдѣ. Я не зналъ даже, какъ ее зовутъ.

Сегодня я въ первый разъ узналъ, что ее звали Капетолиной Валеріановной.

А я всегда былъ увѣренъ, что ее зовутъ Калеріей Назарьевой.

Это смѣшное имя выдумали ей мы, фельетонисты, выдумали нарочно, чтобы сдѣлать ее еще болѣе забавной, смѣшной въ глазахъ публики.

Мы травили ее, травили изъ года въ годъ. Мы изощрялись надъ этой „многописательницей“.

Мы разсказывали про нее всевозможныя забавныя вещи. Говорили, что она вяжетъ свои романы. Что она работаетъ ихъ на швейной машинѣ. Мы потѣшались, что романы идутъ дѣточкамъ на фартучки.

— Героиня измѣняетъ герою,—вотъ и панталончики для Юрочки!

Мы создали такой забавный образъ, что публика безъ улыбки не могла слышать имени:

— Калерія Назарьева! Калерія!

Затравленная, загнанная нами, она пряталась отъ насъ за псевдонимъ, чтобы высказывать свои мысли, часто интересныя, всегда добрыя, всегда гуманныя.

Кто сталъ бы читать статью по общественному вопросу, подписанную ея именемъ?

— Ужасно интересно знать, что думаетъ Калерія Назарьева.

Чтобы читали ея мысли, она прикрывалась мужскимъ псевдонимомъ:

— Н. Левинъ.

„К. Назарьева", безконечная романистка, существовала для публики, незнакомой еще съ критикой.

Для публики, болѣе интеллигентной, былъ „Н. Левинъ".

И, быть-можетъ, часто тотъ, кто съ интересомъ читалъ статьи Н. Левина съ насмѣшливой улыбкой говорилъ о „Калеріи Назарьевой".

Зачѣмъ все это?

О Боже! Если бы Горькій былъ становымъ приставомъ, вытащилъ бы съ постели обнаженную учительницу, подвергъ бы ее грязнѣйшему, подлѣйшему „изслѣдованію", — неужели, вы думаете, на него посыпалась бы хоть половина тѣхъ ругательствъ, насмѣшекъ, издѣвательствъ, которыя сыплются теперь, когда онъ только написалъ нѣсколько томовъ разсказовъ?

Если бъ Чеховъ былъ не писателемъ, а исправникомъ, самымъ возмутительнымъ, самымъ дикимъ, взяточникомъ, вымогателемъ, — неужели на него сыпались бы въ такомъ изобиліи злыя эпиграммы, брань, насмѣшки?

Если бъ Боборыкинъ былъ даже не губернаторомъ, а „вице" самымъ тупымъ, нелѣпымъ, смѣшнымъ, необразо-

ваннымъ,—неужели на него выливались бы такіе ушаты помой, какіе выливались за 40 лѣтъ его литературной дѣятельности?

Даже самъ великій Толстой, если бъ онъ былъ только министромъ, а не геніальнѣйшимъ изъ писателей, и если бъ онъ предписывалъ свои теоріи, а не проповѣдывалъ ихъ, — неужели противъ него велась бы такая травля въ литературѣ?

Почему же? Почему?

Ночью въ степи, во время мятели, на быстро несущуюся тройку налетѣла стая волковъ. Одинъ изъ сѣдоковъ снялъ съ себя тулупъ и кинулъ его.

И стая волковъ кинулась на тулупъ. Рветъ его, рветъ изъ-за него другъ друга.

Почему?

Потому, что тулупъ особенно вкусенъ?

Потому, что имъ кинули тулупъ.

Вы скажете:

— Ну, ну! Причина другая! Мы такъ высоко ставимъ сферу умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, что всякое событіе въ ней считаемъ особо важнымъ. Тутъ мы особенно строги.

Не будьте же рабами, хоть говоря съ самими собою. Хоть съ самими собою говорите свободно. Не лгите, не прикрывайтесь, не прячьтесь.

Вѣдь это рабство, одно изъ главныхъ свойствъ рабства, это—потребность рабовъ, — громкими словами прикрывать самыя мерзкія изъ своихъ рабскихъ дѣяній.

Вѣдь крѣпостные, худшіе изъ крѣпостныхъ, — дворовые, свою „песью преданность“ тоже называли „самоотверженной любовью“ и рабство—„исполненіемъ долга“.

Кандальную тюрьму заперли „на парашу“. Кандальники злы на смотрителя, злы на помощника смотрителя, злы на надзирателя. Ихъ обкрадываютъ, — кормятъ сырымъ и сквернымъ хлѣбомъ. Ихъ дерутъ плетьми, роз-

гами. И они всю свою злость выливаютъ другъ на друга. Мучатъ другъ друга, бьютъ смертнымъ боемъ.

Литература, запертая на парашу. О, литераторы, прикованные къ тачкѣ!

Бѣдная женщина, которая была виновата только тѣмъ, что она была такъ же несчастна, какъ и мы.

Какъ тоскливо сжимается сердце, когда перечитываешь списокъ всѣхъ этихъ изданій, гдѣ она писала. Всѣхъ этихъ „Наблюдателей“, „Звѣздъ“, „Родинъ“, „Новостей Дня“.

„Многописательница!“

Да вѣдь нужно же не умереть съ голоду, работая на этихъ „Наблюдателяхъ“, „Звѣздахъ“, „Родинахъ“, „Новостяхъ Дня“!

Какой-нибудь г. Липскеровъ, живущій въ своемъ домѣ,—не въ домѣ! Въ палаццо! Редакторъ-издатель, въ жизнь не написавшій ни одной строки!

Я говорю это ему не въ укоръ. Девять десятыхъ русскихъ издателей неграмотны.

К. В. Назарьева писала у него романы за гроши.

И чтобы существовать и ей, и липскеровскимъ скаковымъ лошадямъ, и г. Пятковскому, и всѣмъ этимъ издателямъ „Родинъ“ и „Звѣздъ“, она написала 50 романовъ.

Человѣкъ, который написалъ 50 романовъ, могъ бы написать пять хорошихъ.

Сколько хорошихъ произведеній съѣли, быть-можетъ, липскеровскіе скакуны. Истинно фараоновы коровы! Сожрали и остались все-таки клячами!

И она писала за гроши, выматывая изъ себя романы, которые „вязала“, душила свое дарованіе и душила другихъ.

Да, да, душила другихъ.

О, литература, ты—сила, которая, стремясь къ добру, творитъ такъ много зла.

Какъ спорна еще, какъ проблематична польза, которую приноситъ статья. Какъ безспоренъ, какъ очевиденъ ею причиняемый вредъ.

Вы, блестящій столичный журналистъ, — вы пишете одну изъ удачнѣйшихъ вашихъ статей. Я не знаю, да этого не знаете и вы сами, какую пользу она принесетъ, и принесетъ ли.

А вотъ то, что нѣсколько семей останется безъ обѣда изъ-за вашей блестящей статьи, это не подлежитъ сомнѣнію.

Ну, зачѣмъ тотъ, другой, третій, десятый провинціальный издатель будетъ печатать статью своего скромнаго, маленькаго сотрудника, когда онъ можетъ безплатно перепечатать вашу, — вашу блестящую статью?

И когда вы съ радостью говорите:

— Моя статья цѣликомъ перепечатана почти всѣми газетами!

Вы радуетесь тому, что оставили голодными сотни людей!

Вы не знаете, сдѣлаете ли вы что хорошее своей статьей, но если десять строкъ изъ нея будутъ перепечатаны одной какой-нибудь газетой, — вы отняли уже 10 строкъ у вашего маленькаго несчастнаго собрата.

Писать при такихъ условіяхъ!

„Касса взаимопомощи литераторовъ“ обращается уже къ доброму сердцу издателей и проситъ платить за перепечатки:

— На пенсіи, на устройство богадѣленъ для престарѣлыхъ литераторовъ.

И нѣкоторые издатели, движимые добрымъ сердцемъ, присылаютъ тамъ какіе-то гроши:

— Сочувствуя благотворительности!

Доброе сердце! Доброе сердце! Спрячьте этотъ кусокъ сырого филея и не тычьте мнѣ его въ глаза.

Я не хочу никакого добраго сердца. Я хочу права! Я хочу справедливости!

Ich stehe auf meinem Recht!

Я не хочу, чтобы вы какъ милостыню подавали то, что принадлежитъ мнѣ по праву.

Что вы все заботитесь обо мнѣ, когда я буду старъ, немощенъ, боленъ.

Богадѣльню для меня!

Да я не хочу вовсе никакихъ богадѣленъ. Дайте мнѣ мое, и я самъ сумѣю устроиться, когда буду старъ, немощенъ, боленъ.

И сумѣю обойтись безъ вашихъ богадѣленъ.

Вы издыхайте въ богадѣльняхъ, а я буду жить въ своихъ домахъ. Вы хотите наоборотъ? Да?

Вы неграмотный, живущій, однако, литературой, будете жить въ своемъ палаццо. А мы, создавшіе это палаццо, будемъ издыхать въ богадѣльнѣ, благословляя еще ваше доброе сердце?!

Я, литераторъ, не хочу благотворительности. Я хочу, я требую закона, который бы воспрещалъ перепечатки, который бы охранялъ литературную собственность, какъ всякую другую.

И я, литераторъ, требую этого не въ интересахъ тѣхъ, кого перепечатываютъ. А въ интересахъ тѣхъ тружениковъ, тѣхъ маленькихъ, несчастныхъ собратьевъ, которыхъ издатели лишаютъ куска хлѣба, перепечатывая даромъ чужія статьи.

— Но какъ же будетъ тогда существовать провинціальная пресса, часто бѣдная? Часто сама нищая? Что будетъ со вновь возникающими газетами, которыя и такъ не окупаютъ вначалѣ своего существованія?

Отлично.

Устройте нѣчто въ родѣ „общества драматическихъ писателей“ Пусть оно облагаетъ перепечатки гонораромъ, сообразно доходности, распространенію, богатству

каждой газеты. Пусть для бѣднѣйшихъ газетъ оно назначаетъ минимальнѣйшую плату. Пусть возникающіе органы до тѣхъ поръ, пока они не станутъ на ноги, временно освобождаются совсѣмъ отъ платы за перепечатки.

Но пусть прекратится эта эксплоатація нашихъ собратьевъ.

Пусть издатель не оставляетъ безъ куска хлѣба своего сотрудника, говоря ему:

— Зачѣмъ мнѣ ваша статья. Да я возьму статью такого-то. У нея есть одно преимущество передъ вашей: она даровая.

Какой цинизмъ!

— Ага! Вы хотите превратить литераторовъ въ буржуа! Они будутъ „получать то, что имъ должно", накоплять, какъ накопляютъ лавочники, строить свои дома, чтобы подъ старость „не нуждаться въ богадѣльняхъ".

Нѣтъ. Этого не будетъ.

Мы, литераторы, большинство изъ насъ, почти всѣ,— за очень ничтожными исключеніями, — мы не настроимъ себѣ домовъ, мы ничего не накопимъ. Деньги у насъ уйдутъ, быть-можетъ, такъ же безтолково, нелѣпо, безалаберно, какъ уходятъ сейчасъ.

Мы останемся въ самомъ лучшемъ случаѣ „золоченой богемой".

Но лучше закурить сторублевкой сигару, подарить ее за улыбку кокоткѣ, кинуть за бокалъ шампанскаго на благотворительномъ базарѣ, — чѣмъ отдать эту сторублевку неграмотному человѣку, который живетъ литературнымъ трудомъ.

Даже у кокотки есть преимущество передъ неграмотнымъ издателемъ: она не живетъ чужимъ трудомъ.

Послѣ даровыхъ перепечатокъ ничто такъ не душитъ литературы, какъ дешевизна женскаго труда.

— Женщины, это — кули, которые душатъ насъ, рабочихъ.

— Какъ? Вы противъ участія женщинъ въ литературѣ? Да развѣ...

Литература, это — храмъ, гдѣ Богъ — общественное благо. Пусть всякій, кто хочетъ молиться этому богу, идетъ въ этотъ храмъ. Для всѣхъ онъ открытъ.

Но въ храмѣ тѣсно.

И когда вы входите въ этотъ храмъ, и толпа подается, чтобъ васъ впустить, гдѣ-то тамъ, у стѣны, прижатъ, — быть-можетъ, задушенъ—человѣкъ.

Мы, литераторы, говоримъ:

— Довольно насъ переколѣло подъ заборомъ! Довольно переколѣло по больницамъ! Довольно мы строили домовъ и конюшенъ для другихъ! Мы сами хотимъ жить въ тѣхъ домахъ, которые строили, и сами ѣздить на тѣхъ лошадяхъ, которыхъ зарабатываемъ!

И вы, женщины, намъ мѣшаете въ нашей работѣ, — мѣшаете вывести литераторовъ хоть изъ того гнетущаго экономическаго рабства, въ которомъ они находятся.

Женщины приходятъ съ самыми скромными, съ самыми маленькими, съ самыми женскими требованіями.

На этотъ рынокъ рукописей,—я говорю о рынкѣ рукописей, а не идей, успокойтесь,—вы, женщины, приходите съ самымъ ужаснымъ, съ самымъ предательскимъ оружіемъ: вы невозможно сбиваете цѣны.

Вы обрекаете работниковъ на голодъ.

А съ голодомъ вы много талантовъ обрекаете и на гибель.

Милый, дорогой мнѣ образъ, образъ друга моей юности, тебѣ я посвящаю эти строки. И пусть мои проклятія безграмотнымъ издателямъ будутъ панихидой по тебѣ.

Спи мирно, въ безвѣстіи, товарищъ, — въ безвѣстіи, хотя ты, можетъ-быть, могъ бы быть и знаменитъ и полезенъ.

Это былъ человѣкъ, полный ума, остроумія, жизни, наблюдательности, таланта и благородства мысли.

Онъ писалъ подъ псевдонимомъ „Риваль“ бульварные романы въ маленькихъ газетахъ.

И,—подождите же отворачиваться съ такимъ пренебреженіемъ,—если вамъ нуженъ аттестатъ,—вотъ онъ.

Однажды мой пріятелъ удосужился, написалъ большую вещь и послалъ ее въ „Вѣстникъ Европы“. Она была напечатана. Она вызвала похвалы критики. Была очень замѣчена.

Знаете ли вы,—вы, аристократы литературы, которые родились въ большой прессѣ, въ толстыхъ журналахъ, какъ рождаются люди въ графскихъ и княжескихъ семьяхъ, что значитъ для настоящаго литературнаго плебея, который заставилъ обратить на себя вниманіе не связями, не дружбой съ лучшими людьми, не протекціей, а талантомъ,—что значитъ для него „выйти на открытую широкую воду“? Для него, задыхавшагося въ тинѣ и вони „мелкой“ печати.

Какой это былъ день восторга! Какой подъемъ силъ!

Какая энергія охватила этого бѣднягу.

Какъ онъ говорилъ о работѣ „теперь“.

— Теперь!

Все, что лежало на глубинѣ души, все, что было припрятано, накоплено въ тайникахъ мысли,—хлынуло вверхъ.

Какіе сюжеты онъ разсказывалъ мнѣ. И какъ разсказывалъ.

Я не узналъ своего друга. Я никогда не зналъ, что жизнь *такъ* отражается въ его умѣ, въ его душѣ. Что онъ *такъ* можетъ передавать свои мысли, наблюденія, ощущенія.

Какъ много, оказалось, хотѣлъ онъ сказать, и какъ многое изъ того, что онъ хотѣлъ сказать, было значительно и глубоко.

Но... но... но... чтобы писать, надо было жить. Жить самому, жить близкимъ. А жить—это значило писать фельетонные романы въ маленькой газетѣ.

Писать сегодня, чтобъ было что ѣсть завтра.

А за фельетонные романы платили $1^1/_2$ копейки за строку.

— У насъ Назарьева проситъ по 2 копейки. У нея имя!

А писать по $1^1/_2$ копейки за строчку — значитъ писать до одурѣнія.

Когда ужъ тутъ думать о „большой“ работѣ.

Тутъ нельзя:

— Написалъ „имъ“ романъ! Отписался и принялся за „свою“ работу.

Всю жизнь работай на „нихъ“.

И онъ остался задыхаться въ этой „злой ямѣ“, сдавленный нуждой, прикованный заботой о завтрашнемъ днѣ, обреченный на литературную смерть этими „полутора копейками за строку“, — и задохся, спился, умеръ отъ алкоголизма гдѣ-то въ пріемномъ покоѣ.

Онъ, какъ на Бога, молившійся на литературу, онъ, такъ ее любившій...

Есть область литературы, куда женщины, входя, прямо несутъ смерть.

Это—переводы.

Въ каждую редакцію каждый день обращается по нѣскольку женщинъ:

— Переводовъ!

И какъ существовать хорошему, добросовѣстному, талантливому переводчику, когда онѣ просятъ:

— Копейку за строчку, полкопейки.

Согласны взять даже четверть копейки!

— Если только много работы.

Поторговаться,—возьмутъ и восьмую копейки:

— Если только ужъ очень много работы!

Если можно нажить чахотку!

На-дняхъ еще ко мнѣ обратился одинъ очень почтенный человѣкъ:

— Будьте добры просмотрѣть переводы моей дочери. Небольшіе разсказы,—это не отниметъ у васъ много времени. Могутъ ли они печататься? Моя дочь, конечно, не нуждается въ заработкѣ. Такъ, какіе-нибудь пустяки. Главное—трудъ. Я хочу, чтобъ она трудилась. Трудъ такъ облагораживаетъ душу!

У меня была надежда, что хоть переводы окажутся плохими.

Нѣтъ! Отличные переводы! Прямо превосходные переводы!

Ихъ охотно примутъ во всякой редакціи. Да еще „такъ за что-нибудь". Положительно находка!

— Да, ваша дочь можетъ облагородить свою душу!

Но бѣдная переводчица, молодая дѣвушка, въ холодной кофточкѣ, которая вчера приходила въ редакцію съ рукописью въ посинѣвшихъ рукахъ.

На этомъ сверткѣ отличныхъ переводовъ смертный приговоръ для васъ.

Кто будетъ печатать ваши переводы по полкопейки за строчку, когда здѣсь можно заплатить по одной шестнадцатой.

Кто будетъ печатать ваши „ремесленные" переводы, переводы изъ-за куска хлѣба, „поскорѣй",—когда за $^1/_{16}$ копейки работаетъ барышня, отлично образованная, съ талантомъ, работаетъ любительски, тщательно отдѣлывая каждое слово.

. . . . . .

Однако, развѣ такъ пишутся некрологи?

Развѣ это похоже на некрологъ К. В. Назарьевой?

Пусть останется такъ, какъ написалось.

Быть-можетъ, лучшая надгробная рѣчь по литераторѣ, это—проклятье тѣмъ, кто выматываетъ жизнь и присылаетъ вѣнки на могилу.

Лавровый листъ послѣ смерти, когда при жизни не было даже супа!

П. И. Вейнбергъ.

Сегодня у литературы праздникъ.

Большой и рѣдкій.

50-лѣтній юбилей,—юбилей одного изъ самыхъ почтенныхъ, изъ самыхъ заслуженныхъ писателей.

И П. И. Вейнбергъ, проснувшись сегодня, вѣроятно, почувствуетъ себя нѣсколько странно.

Литературный юбилей, и ему не нужно хлопотать.

— Странно!

Въ первый разъ въ его жизни случается такое удивительное происшествіе!

Много мы видали юбилеевъ. Всякихъ! Но литературнаго юбилея, котораго не устраивалъ бы П. И. Вейнбергъ, до сегодняшняго дня еще не видѣлъ никто.

Такое небывалое, необыкновенное и изъ ряда вонъ выходящее событіе объясняется только однимъ:

— Сегодня его собственный юбилей.

О, великая мачеха — Литература!

Гдѣ-то тамъ, высоко-высоко, куда доносятся только орлы, возсѣдаешь ты въ сіяньи немеркнущей славы на тронѣ своемъ, окруженная твоими слугами, воинами, приближенными.

Какъ къ сказочной королевѣ, труденъ къ тебѣ путь.

Труденъ путь тому, кто хотѣлъ бы приблизиться къ твоему трону, съ благоговѣніемъ преклонить ко-

лѣни и коснуться устами твоей руки прекрасной и благостной.

Внизу стоитъ толпа.

И смотритъ.

Одни думаютъ:

— Только ужъ больно она высоко куда-то взобралась!

Другіе полагаютъ:

— Ишь храмина! На самой дорогѣ! Еще выстроили бы что путное. Фабрику. Или другое что, полезное.

И эта толпа смотритъ на тѣхъ, кто идетъ, взбирается, карабкается наверхъ.

И разражается радостнымъ хохотомъ, когда кто-нибудь сорвался.

— Туда же.

Люди, не написавшіе въ жизни ни строчки, потѣшаются, что человѣкъ написалъ нѣсколько неудачныхъ строкъ.

Людямъ, у которыхъ ни разу въ головѣ не явилось ни одной мысли, кричатъ:

— Смотрите, ему пришла въ голову неудачная мысль!

Дни величайшаго литературнаго торжества для публики, это—когда прославленный поэтъ обмолвился неудачнымъ стихомъ, хорошій романистъ напишетъ слабый романъ, великій мыслитель выскажетъ ошибочную мысль.

Тогда у публики настоящій литературный праздникъ.

— А? что!!!

И всякаго, кто оступится, кто сорвется, скатится внизъ, истерзанный, окровавленный, толпа встрѣчаетъ улюлюканьемъ, свистомъ, ругательствами, травлей.

Словно онъ совершилъ великое преступленіе тѣмъ, что хотѣлъ приблизиться къ тебѣ, великая, святая мачеха-Литература.

А тѣ, кто взобрался наверхъ? А тѣ, кто мужественно прошелъ полпути?

Толпа говоритъ:

— Что жъ! Они и должны. На то у нихъ и талантъ!

Мрачно, сурово и сумрачно въ лагерѣ твоемъ.

Только стоны раненыхъ слышны оттуда.

Ни трубъ ни литавръ въ честь побѣдителей.

Это было несправедливо, прекрасная королева!

Добрая и свѣтлая, ты ясными очами взглянула на старыхъ закаленныхъ бойцовъ.

— Хочу, чтобъ было свѣтло и радостно въ чертогѣ моемъ!

Пусть не одни пораженья оглашаются печальнымъ и протяжнымъ звукомъ трубъ. Пусть празднуются и побѣды.

Не однѣ печальныя тризны надъ могилами павшихъ. Пусть пѣнятся кубки въ честь живыхъ, въ честь побѣдителей.

И среди своихъ приближенныхъ ты выбрала стараго воина.

Закаленнаго въ бояхъ, покрытаго ранами. Ранами покрывавшаго многихъ.

Славнаго бойца, ходившаго въ далекія страны и приводившаго оттуда къ намъ толпы плѣнницъ: прекрасныя мысли съ огненными глазами, убранные цвѣтами стихи, полную красоты, граціи, пластики прозу.

Отличнаго пѣвца прекрасныхъ пѣсенъ.

И сказала ему владычица думъ и сердецъ:

— Будь моимъ церемоніймейстеромъ. И пусть клики радости и веселья, клики побѣды несутся надъ лагеремъ моихъ воиновъ, моихъ бойцовъ.

И въ лагерѣ сумрачномъ и суровомъ закипѣли пиры въ дни торжества, и зазвенѣло громкое смѣлое слово, и запѣлъ звучный, ликующій стихъ.

И эти клики мужество вливали въ сердца бойцовъ.

И смѣлѣй и бодрѣй смотрѣли воины впередъ

И послѣ пира шли въ бой, среди лязга мечей, вспоминая побѣдныя пѣсни.

И сказала королева своему церемоніймейстеру:

— Ты былъ изъ первыхъ въ бою и на пиру. Я хочу, чтобы вспомнили всѣ битвы и пиры на пиру въ честь тебя.

И кликнула кличъ среди бойцовъ.

И радостно откликнулись всѣ.

И пиромъ веселымъ и шумнымъ почтили воина и пѣвца, перваго въ бояхъ и на пирахъ.

Мое первое знакомство съ П. И. Вейнбергомъ.

Мое первое знакомство съ П. И. Вейнбергомъ,—ему минетъ скоро уже, вѣроятно, 25 лѣтъ.

Я былъ тогда издателемъ журнала, имѣвшаго большой успѣхъ, очень распространеннаго, вліятельнаго.

Я былъ его редакторомъ и почти единственнымъ сотрудникомъ.

Это трудно,—не правда ли?

Но трудность положенія увеличивалась еще тѣмъ, что я издавалъ... запрещенный журналъ!

Это былъ журналъ, выходившій въ 4-мъ классѣ одной изъ московскихъ гимназій. Онъ назывался, кажется, „Муха". А можетъ-быть и „Вселенная".

Это не были счастливыя нынѣшнія времена, когда гимназическіе журналы издаются подъ редакціей классныхъ наставниковъ.

До 15 лѣтъ я писалъ, не зная никакой цензуры!

Мы писали не для того, чтобы выказать себя съ самой лучшей стороны предъ начальствомъ.

Начальство не видѣло нашихъ журналовъ. И не дай Богъ, чтобъ оно видѣло! Какъ мышонокъ, этотъ журналъ бѣгалъ подъ партами.

Въ немъ писалось то, что можетъ интересовать 15-лѣтняго мальчика.

Какъ лучше передѣлать міръ и о томъ, что „нѣмецъ“ несправедливо ставитъ двойки.

Критиковались Прудонъ и вчерашнее extemporale.

Одна статья—въ прозѣ—кончалась такъ:

„Прудонъ, видимо, не читалъ „Исторіи ассоціацій во Франціи“. Михайлова. Онъ могъ бы почерпнуть оттуда много полезныхъ свѣдѣній“.

Другая статья — въ стихахъ — и о „педагогическомъ совѣтѣ“— кончалась словами:

„Такъ что слышны далеко
Крики синяго собранья!“

Въ этомъ журналѣ и была напечатана привѣтственная статья „г. Вейнбергу“, въ которой я поощрялъ его:

— Продолжать начатый путь: на немъ г. Вейнбергъ можетъ принести много пользы обществу.

Какъ хорошо, что П. И. Вейнбергъ послушался.

Я ходилъ въ гимназію и учился въ Маломъ театрѣ.

Какъ давно, какъ давно это было!

Это было еще тогда, когда А. П. Ленскій былъ не великолѣпнымъ армяниномъ въ плохомъ „Фонтанѣ“ и не превосходнымъ адвокатомъ въ „Ирининской общинѣ“.

Онъ былъ тогда увлекателенъ въ „сценѣ у фонтана“, но не величкинской, а пушкинской.

Онъ носилъ траурный плащъ Гамлета. Онъ былъ задирой—Петруччіо и весельчакомъ—Бенедиктомъ.

Тогда-то я и познакомился съ П. И. Вейнбергомъ на галеркѣ.

Галерка Малаго театра!

Какъ часто теперь, встрѣчаясь въ партерѣ съ какимъ-нибудь обрюзгшимъ, почтеннымъ господиномъ, который, сюсюкая и шепелявя, говоритъ мнѣ:

— Посмотрите вонъ та, въ ложѣ, налѣво. Въ ней есть что-то обѣщающее. Вы не находите?

Я смотрю на галерку и думаю:

— Какъ высоко я леталъ тогда.

И я кажусь себѣ коршуненкомъ, которому подрѣзали крылья и выучили ходить по землѣ.

Всѣ мы соколы, пока цыплята, а потомъ вырастаемъ въ домашнихъ куръ. Тогда мы на 35 копеекъ парили высоко надъ землей, и намъ казалось, что это намъ кричитъ Акоста призывной кличъ:

„Спадите груды камней съ моей груди!
На волю мой языкъ"!

И это „все-таки жъ она вертится", какъ Акостѣ, „намъ" покою не давало ни день ни ночь.

Дѣтямъ снился Галилей.

„Подъ пыткою ты долженъ былъ признаться,
Что земля недвижима,
Но чуть минутный роздыхъ былъ данъ тебѣ,
Ты на ноги вскочилъ, и пронеслись
Надъ сонмомъ кардиналовъ, какъ громовой раскатъ,
Твои слова: „А все-таки жъ она вертится!"

И этотъ Акоста, отрекающійся отъ отреченья, въ разодранной одеждѣ, съ пылающими прекрасными глазами,—то солнце моей молодости!

Изъ насъ никто не спалъ въ ту ночь, когда мы впервые увидѣли „Уріэля Акосту".

Вотъ это трагедія!

Акоста! Это показалось намъ выше Гамлета, выше Шекспира.

— Это выше Шекспира!

— Конечно же, выше!

— Безконечно! Неизмѣримо!

— Вотъ борьба! Борьба за идею!

Такъ говорили мы весь Кузнецкій Мостъ, всю Лубянку, всю Срѣтенку, Сухаревскую площадь. Такъ думали, расходясь по мѣщанскимъ, на Спасскую, на Домниковскую.

И мирно спавшіе дворники, разбуженные звонкими голосами:

— Борьба за идею!

Ворчали:

— Безобразники!

И засыпали вновь.

Достать „Акосту“ было нашимъ первымъ дѣломъ. Выучить наизусть—вторымъ.

Мы всѣ клялись быть Акостами.

И это было такъ дѣвственно, такъ чисто, что даже Юдиѳи Вандерстратенъ, съ ея пламеннымъ:

„Ты лжешь, раввинъ!“ не было въ нашихъ мечтахъ.

А почтенный редакторъ-издатель солиднаго и серьезнаго журнала,—я,—писалъ:

„На-дняхъ мы видѣли г. Ленскаго въ трагедіи „Уріэль Акоста“ и не можемъ не похвалить артиста за такой серьезный и идейный выборъ пьесы. Говорятъ, г. Ленскій кончилъ университетъ. „Уріэль Акоста“— превосходная пьеса и свѣтлая личность. До сихъ поръ мы считали г. Ленскаго способнымъ только на Шекспира, но теперь видимъ, что онъ можетъ идти и выше. Мы не поклонники авторитетовъ, но нѣмецкаго писателя Гуцкова готовы признать удивительнымъ писателемъ. Нашему обществу, гдѣ вѣрность идеи представляетъ собою явленіе крайне рѣдкое, подобныя пьесы приносятъ огромную пользу. Нельзя не отнестись съ похвалою къ г. Вейнбергу, который перевелъ эту пьесу для русской сцены и тѣмъ сдѣлалъ ее достояніемъ русской мыслящей молодежи. Г. Вейнбергъ, переводя подобныя произведенія, стоитъ на совершенно вѣрномъ пути и можетъ принести огромную пользу обществу“.

Такъ я познакомился съ П. И. Вейнбергомъ на галеркѣ, и своимъ вдохновеннымъ переводомъ „Акоста“ онъ зажегъ пламя въ моей груди.

Отъ пламени остались полупогасшіе угли, но и они грѣютъ мою озябшую душу.

Черезъ много лѣтъ обдерганнымъ полулюбителемъ, полуактеромъ я игралъ Рувима въ „Уріэлѣ Акостѣ“.

Я, который зналъ наизусть всего Акосту! Я, для котораго въ Акостѣ не было ни одного слова, надъ которымъ бы я не рыдалъ отъ волненія, декламируя его одинъ, у себя въ комнатѣ, шопотомъ. Шопотомъ, чтобы квартирная хозяйка не выгнала „за шумъ и безобразіе“.

Я игралъ Рувима, а Акосту какой-то купеческій сынъ, который пошелъ къ какому-то актеру и купилъ у него за сто рублей искусство.

Актеръ выучилъ его, какъ учатъ попугая. И купеческій сынъ игралъ Акосту недурно.

„Недурно“ читать пламенныя слова Акосты! Ужъ лучше бы онъ ихъ читалъ скверно, но отъ себя, отъ души, негодяй!

Читалъ заученно, позируя, рисуясь.

Наслаждаясь своей игрой. Какъ попугай наслаждается тѣмъ, какъ онъ подражаетъ соловью.

Репетицій было безъ конца,—я зналъ наизусть каждый жестъ, каждую интонацію „нашего попугая“.

И вотъ насталъ спектакль.

Спектакль съ избранной публикой, неплатной, приглашенной по почетнымъ билетамъ.

Послѣ спектакля будетъ ужинъ. Это знали всѣ.

И хозяина Акосту награждали аплодисментами за каждую сцену.

— Правда, недурно?—спрашивалъ онъ.—Я доволенъ пріемомъ.

И ломался, и позировалъ, и манерничалъ въ пламенномъ Акостѣ.

Сцена предъ отреченіемъ.

По обязанностямъ Рувима, я стараюсь удержать брата:

— Не отрекайся!

Онъ не слушаетъ меня. Онъ убѣгаетъ. Я остаюсь одинъ на сценѣ. Одинъ предъ публикой, приглашенной на ужинъ. У меня крошечный монологъ. Строчки въ четыре.

За сценой поетъ хоръ. Шумятъ статисты. Изъ-за кулисъ никто не обращаетъ на меня вниманія.

И вдругъ мнѣ приходитъ въ голову мысль, дикая, сумасшедшая.

— Я жъ тебѣ сорву... Акоста!

Я подбѣгаю къ ступенямъ, покрытымъ краснымъ сукномъ. Становлюсь въ ту самую позу, въ которую станетъ „попугай“ послѣ сцены отреченья.

Я начинаю его монологъ:

„Спадите груды камней съ моей груди!“

Священное: „спадите груды камней...“

Съ его интонаціей, съ каждымъ его жестомъ. Публика смотритъ на меня съ недоумѣніемъ.

„А все-таки жъ она вертится!“ — кончаю я у авансцены, убѣгаю и запираюсь въ уборной.

— Рувимъ кончилъ! Рувимъ кончилъ! — слышу я, пробѣгая, голосъ режиссера.

— Акоста на сцену! Всѣ приготовьтесь! За кулисами, значитъ, никто не замѣтилъ.

Я заперся. Я сижу.

Мертвая тишина. Это Акоста читаетъ отреченіе.

Зашумѣли статисты. Вотъ-вотъ, сейчасъ...

Снова все замолкло.

И вотъ странный шумъ доносится изъ зала.

Смѣхъ...

Онъ растетъ, растетъ, превращается въ хохотъ.

Гомерическій! Неудержимый!

Крики! Аплодисменты!

Это „попугай“ читаетъ уже прочитанный монологъ.

Я скопировалъ его удивительно, и, увидѣвъ тѣ же жесты, услыхавъ тѣ же интонаціи, даже приглашенная на ужинъ публика не можетъ удержаться отъ хохота.

Бѣдный, ничего не понимающій, Акоста пораженъ.

Онъ кричитъ:

— Занавѣсъ! Занавѣсъ!

При ревѣ публики:

— Что случилось? Что случилось?

Прибѣжавшіе изъ публики объясняютъ, въ чемъ дѣло.

Разсказываютъ мою продѣлку.

Акоста лежитъ въ обморокѣ.

Режиссеръ, мой пріятель, стучитъ въ дверь моей уборной:

— Не отпирай лучше! Я тебя убью! Убью!

Акоста заболѣваетъ отъ огорченія. Спектакль не конченъ. Ужинъ не состоялся.

А я въ отчаяніи схватился за голову:

— Что я надѣлалъ?! Что я надѣлалъ?!

И радуюсь вмѣстѣ съ тѣмъ и радуюсь. Я отомстилъ за тебя, Акоста, „попугаю“.

Я отомстилъ! За всѣхъ! За васъ, мой Ленскій! За тебя, Гуцковъ! За васъ, П. И. Вейнбергъ, пламенемъ души своей передавшій пламя словъ Акосты! Да и теперь, когда скверный актеръ, ломаясь, какъ голодный фигляръ, коверкаетъ предо мной какое бы то ни было произведеніе, мнѣ все равно.

Я смотрю на него съ презрѣніемъ къ его искусству и съ жалостью къ его голоду.

Развѣ мало скверныхъ актеровъ на свѣтѣ?! Увидать однимъ больше,—развѣ такое уже несчастье?

Но когда скверно играютъ Акосту, — мнѣ не все равно.

Акосты трогать не нужно даже съ голоду. Такъ кажется мнѣ.

Это — факелъ.

Вы сыграли сегодня Акосту. Въ чьей молодой груди зажгли вы пламя? Ни въ чьей? Лучше бы вамъ не родиться, какъ актеру! Давно-давно онъ поселился въ моей груди и живетъ въ ней, какъ лучшее воспоминаніе моей юности. И мнѣ больно, когда его задѣваютъ.

И когда, черезъ много-много лѣтъ меня, на какомъ-то литературномъ торжествѣ, подвели къ человѣку съ профилемъ библейскаго пророка, съ лицомъ старика и живымъ взглядомъ юноши и сказали:

— Петръ Исаевичъ, позвольте вамъ представить...

Мнѣ хотѣлось сказать ему:

— Я знакомъ съ вами давно. Вы говорили съ моей душой. Я обязанъ вамъ многими часами восторга, какъ обязано все поколѣніе, къ которому я принадлежу. Вы освѣтили нашу молодость,—и какимъ свѣтомъ! Вы были пророкомъ, который принесъ намъ откровеніе литературныхъ боговъ.

Но это было бы слишкомъ длинно. И я молча, съ чувствомъ глубокой благодарности, пожалъ ему руку.

Съ чувствомъ благодарности неудавшагося Акосты къ старому почтенному де-Сильва.

Дѣло объ убійствѣ Симоннъ Диманшъ.

А. В. Сухово-Кобылинъ — загадка въ русской литературѣ.

Онъ написалъ три пьесы: „Свадьбу Кречинскаго“, — пьесу, ставшую классической, „Дѣло“, которое произвело потрясающее впечатлѣніе, когда было поставлено, и которое рѣдко дается теперь потому же, почему рѣдко дается „Горькая Судьбина“ Писемскаго, — ужъ очень „отжитое время“ въ ней описывается, — и, наконецъ, „Смерть Тарелкина“, съ которой, наконецъ, снятъ запретъ, и которая съ сегодняшняго дня займетъ почетное мѣсто въ русскомъ репертуарѣ.

Человѣкъ написалъ три пьесы, всѣ три chef d'oeuvre'ы—и никогда ни до ни послѣ этого не занимался литературой, — даже писалъ въ предисловіи къ одной изъ пьесъ:

„Я не говорю о классѣ литераторовъ, который мнѣ чуждъ, какъ и остальные четырнадцать“.

Какое оригинальное явленіе.

Это три пьесы, вылившіяся изъ души. Появленіе ихъ объясняется той трагедіей, которая разыгралась въ жизни А. В. Сухово-Кобылина.

Мы обязаны тремя превосходными пьесами—ужасной случайности.

„Свадьба Кречинскаго“, это — плодъ тюремной тоски. „Дѣло“ и „Смерть Тарелкина“—горячій, страстный про-

тестъ измученнаго человѣка противъ порядковъ „отжитого времени“.

А. В. Сухово-Кобылинъ былъ жертвою судебной ошибки.

И особенно своевременно извлечь на свѣтъ Божій эту исторію, дремавшую въ архивахъ стараго сената, именно теперь, въ эпоху нападокъ на новые суды.

Русское общество съ сочувствіемъ узнаетъ, что горячій борецъ съ порядками „отжитого времени“ самъ когда-то страдалъ отъ нихъ.

И къ симпатіямъ къ писателю пусть присоединятся еще симпатіи къ невинно страдавшему человѣку.

Трагедія, которой мы обязаны знаменитой трилогіей, такова.

Дѣло происходило при крѣпостномъ правѣ.

Въ одномъ изъ парижскихъ ресторановъ сидѣлъ молодой человѣкъ, богатый русскій помѣщикъ А. В. Сухово-Кобылинъ, и допивалъ, быть-можетъ, не первую бутылку шампанскаго.

Онъ былъ въ первый разъ въ Парижѣ, не имѣлъ никого знакомыхъ, скучалъ.

Вблизи сидѣли двѣ француженки: старуха и молодая, удивительной красоты, повидимому, родственницы.

Молодому скучающему помѣщику пришла въ голову мысль завязать знакомство.

Онъ подошелъ съ бокаломъ къ ихъ столу, представился и послѣ тысячи извиненій предложилъ тостъ:

— Позвольте мнѣ, чужестранцу, въ вашемъ лицѣ предложить тостъ за французскихъ женщинъ!

Въ то „отжитое время“ „русскіе бояре“ имѣли репутацію.

Тостъ былъ принятъ благосклонно, француженки выразили желаніе чокнуться, было спрошено вино, Суховово-Кобылинъ присѣлъ къ ихъ столу, и завязался разговоръ.

Молодая француженка жаловалась, что она не можетъ найти занятій.

— Поѣзжайте для этого въ Россію. Вы найдете себѣ отличное мѣсто. Хотите, я вамъ дамъ даже рекомендацію? Я знаю въ Петербургѣ лучшую портниху, Андріе, первую, — у нея всегда шьетъ моя родня. Она меня знаетъ отлично. Хотите, я вамъ напишу къ ней рекомендательное письмо?

Сухово-Кобылинъ тутъ же, въ ресторанѣ, написалъ рекомендацію молодой женщинѣ.

На этомъ знакомство кончилось.

Они разстались и больше въ Парижѣ не встрѣтились.

Но въ тѣ времена вѣрили еще въ „русскихъ бояръ".

Прошелъ годъ.

Однажды Сухово-Кобылинъ зашелъ въ Петербургѣ къ Андріе съ порученіями отъ сестры изъ деревни.

Порученіе было исполнено, и Сухово-Кобылинъ уходилъ уже изъ магазина, — какъ вдругъ къ нему подошла удивительно красивая женщина, служащая въ магазинѣ.

Лицо ея было какъ будто знакомо.

— Вы меня не узнаете?—улыбаясь, спросила она. — Я Симоннъ Диманшъ, помните, та самая француженка, которой годъ тому назадъ вы дали рекомендацію къ этой фирмѣ. Я поѣхала и, благодаря вашей рекомендаціи, получила мѣсто.

Она была очень красива.

— Но намъ надо встрѣтиться. Вы разскажите мнѣ все подробно. Какъ бы это сдѣлать? Не хотите ли со мной пообѣдать на этихъ дняхъ? — предложилъ Сухово-Кобылинъ.

— У меня только одинъ свободный вечеръ въ недѣлю. Четвергъ. Какъ разъ сегодня.

— Превосходно. Я отозванъ сегодня на обѣдъ. Но я пошлю записку, что боленъ, и мы обѣдаемъ вмѣстѣ!

Они обѣдали въ кабинетѣ лучшаго въ тѣ времена французскаго ресторана въ Петербургѣ.

За обѣдомъ красавица-француженка окончательно вскружила голову молодому помѣщику, и онъ предложилъ:

— Жениться я на васъ не могу. Противъ этого были бы родные, а я отъ нихъ завишу. Но хотите,—мы будемъ жить, какъ мужъ съ женой. Ѣдемъ ко мнѣ въ имѣніе. Ну, что вамъ здѣсь, въ какомъ-то магазинѣ, служащей? Чего вы добьетесь? Чего дослужитесь?

Симоннъ Диманшъ приняла предложеніе, и они уѣхали въ деревню.

Медовый мѣсяцъ промелькнулъ, француженка влюбилась до безумія въ своего русскаго друга, а молодой человѣкъ сталъ скучать, его потянуло въ городъ.

Они поселились въ Москвѣ, на Тверской, въ собственномъ домѣ Сухово-Кобылина, — въ дворянскомъ особнячкѣ, какіе бывали въ старину.

Служило имъ пятеро крѣпостныхъ.

Охлажденіе молодого человѣка шло crescendo,—и Симоннъ Диманшъ ревновала его безумно.

„Дѣло“, покоящееся въ архивахъ стараго сената, разсказываетъ слѣдующую романическую исторію.

Сухово-Кобылинъ безуспѣшно ухаживалъ въ эту зиму за одной московской аристократкой.

Въ одинъ изъ вечеровъ у этой аристократки былъ балъ, на которомъ присутствовалъ Сухово-Кобылинъ.

Проходя мимо окна, хозяйка дома увидѣла при свѣтѣ костровъ, которые горѣли по тогдашнему обыкновенію для кучеровъ, на противоположномъ тротуарѣ кутавшуюся въ богатую шубу женщину, пристально смотрѣвшую въ окна.

Дама monde'a узнала въ ней Симоннъ Диманшъ, сплетни о безумной ревности которой ходили тогда по Москвѣ.

Ей пришла въ голову женская, злая мысль.

Она подозвала Сухово-Кобылина, сказала, что ушла сюда въ нишу окна, потому что ей жарко, отворила огромную форточку окна и поцѣловала ничего не подозрѣвавшаго ухаживателя на глазахъ у несчастной Симоннъ Диманшъ.

Въ тотъ вечеръ, вернувшись, Сухово-Кобылинъ не нашелъ Симоннъ Диманшъ дома.

Прислуга сказала, что барыня уѣхала на наемномъ извозчикѣ.

Глубокая ночь. Ея все нѣтъ.

Встревоженный Сухово-Кобылинъ поѣхалъ къ оберъ-полицмейстеру и заявилъ ему объ исчезновеніи француженки.

— Не случилось ли съ ней чего?

Начались розыски. Искали долго, и, наконецъ, на Ходынскомъ полѣ была сдѣлана страшная находка.

Среди сугробовъ снѣга лежала съ перерѣзаннымъ горломъ Симоннъ Диманшъ.

Не было грабежа. Драгоцѣнныя вещи, дорогая шуба черно-бурой лисицы, — все было цѣло.

Что это было? Самоубійство? Убійство? Не была ли несчастная убита въ другомъ мѣстѣ, и не былъ ли трупъ вывезенъ въ поле?

Полиція сдѣлала обыскъ въ домѣ Сухово-Кобылина, и въ одной изъ комнатъ были открыты слѣды крови.

Сухово-Кобылинъ и вся прислуга были арестованы.

Напрасно родные Сухово-Кобылина кинулись хлопотать.

— Онъ сильно запутанъ въ это дѣло. Зачѣмъ онъ въ ночь убійства являлся къ оберъ-полицмейстеру и говорилъ объ исчезновеніи Симоннъ Диманшъ?

Прислуга на всѣ вопросы отвѣчала:

— Знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ. Баринъ поѣхалъ на балъ на своихъ лошадяхъ. Ихъ француженка, спустя немного, велѣла позвать себѣ извозчика и куда-то уѣхала. Больше мы ее не видѣли!

Какъ вдругъ послѣ долгаго сидѣнья при кварталѣ прислуга измѣнила свои показанія.

Они сознались квартальному въ убійствѣ.

— Мы ненавидѣли француженку за жестокое обращеніе съ нами, воспользовались, что барина не было дома, зарѣзали француженку и отвезли тѣло на Ходынское поле! — показали крѣпостные.

Но имъ не совсѣмъ повѣрили.

Дѣло шло о „дворянинѣ Сухово-Кобылинѣ, обвиняемомъ въ убійствѣ при посредствѣ своихъ крѣпостныхъ находившейся съ нимъ въ противозаконной связи француженки Симоннъ Диманшъ“.

— Зачѣмъ онъ пріѣзжалъ ночью къ оберъ-полицмейстеру?

Сухово-Кобылинъ и его крѣпостные сидѣли въ тюрьмѣ и были наканунѣ каторги.

Родные его продолжали хлопотать, и вотъ, наконецъ, послѣ безконечныхъ мытарствъ было постановлено сенатомъ „обратить дѣло къ переслѣдованію и постановленію новыхъ рѣшеній, не стѣсняясь прежними“.

Въ концѣ концовъ начали съ того, съ чего слѣдовало начать, съ начала самаго начала, — это, впрочемъ, и теперь случается, — съ изслѣдованія кровавыхъ пятенъ.

По изслѣдованію „медицинской конторы“ оказалось, что кровь была куриная.

Комната, гдѣ найдены пятна, была людскою.

Это подтверждало первое показаніе повара. Онъ показалъ, что зимой рѣзалъ обыкновенно птицу въ людской.

Но откуда же явилось сознаніе крѣпостной прислуги?

Слѣдствіе обнаружило, что сознаніе это было вынуждено у людей въ кварталѣ пытками.

Квартальный надзиратель, какъ оказалось, кормилъ ихъ селедками и не давалъ пить, подтягивалъ допрашиваемыхъ на блокахъ къ потолку, такъ что у несчастныхъ плечевыя кости выходили изъ суставовъ, и требовалъ:

— Сознавайтесь, что убили!

Такъ было добыто „сознаніе“.

— Имѣйте въ виду, — говорилъ при этомъ „сознавшимся“ квартальный надзиратель, — и слѣдователямъ, и судьямъ показывайте точно такъ же. Измѣните показаніе,— опять васъ къ намъ пришлютъ, и мы васъ опять такъ пытать будемъ.

Крѣпостные и повторяли всѣмъ отъ страха „оговоръ на себя“.

Только на одно не шли эти несчастные въ своей „рабьей вѣрности“: какъ ни пыталъ ихъ квартальный надзиратель „показать на барина“, они и подъ пыткой твердили:

— Баринъ ни при чемъ!

Когда новое слѣдствіе раскрыло все это, состоялся приговоръ.

Дворянина Сухово-Кобылина и его крѣпостныхъ слугъ, какъ невиновныхъ, отпустить, дѣло о смерти француженки Симоннъ Диманшъ предать волѣ Божіей, а квартальнаго надзирателя за допущенныя имъ при допросѣ пытки и истязанія съ цѣлью вынудить ложное сознаніе, лишить правъ состоянія и сослать на поселеніе въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири.

Вотъ трагедія, которой обязаны мы появленіемъ трехъ пьесъ Сухово-Кобылина.

Сидя въ тюрьмѣ, онъ отъ скуки разсказалъ въ драматической формѣ ходившій въ то время по городу

анекдотъ объ одномъ очень свѣтскомъ господинѣ, оказавшемся шулеромъ, который заложилъ извѣстному дисконтеру стразовую булавку за брильянтовую. Такъ получилась „Свадьба Кречинскаго“.

„Дѣло“—самая сильная, самая страстная изъ пьесъ Сухово-Кобылина. Въ ней вы найдете отголосокъ того, что ему самому пришлось пережить въ собственномъ „дѣлѣ“. Не даромъ въ предисловіи къ этой страшной пьесѣ А. В. Сухово-Кобылинъ писалъ:

„Если бы кто-либо усомнился въ дѣйствительности, а тѣмъ паче въ возможности описываемыхъ мною событій, то я объявляю, что имѣю подъ рукою факты довольно яркихъ колеровъ, чтобъ увѣрить всякое невѣріе, что я ничего невозможнаго не выдумалъ и несбыточнаго не соплелъ“.

Вспомните самое возникновеніе „Дѣла“.

„Дѣло“—возникаетъ по доносу Расплюева на то, что Лидочка сама „запутала“ себя, сказавши будто бы:

— Это *моя* ошибка.

Пользуясь этимъ, запутываютъ въ „Дѣло“ человѣка, съ котораго можно поживиться.

Сравните это съ тѣмъ, какъ Сухово-Кобылинъ „самъ себя запуталъ въ дѣло“, — ночью поѣхавши къ оберъ-полицмейстеру.

Въ сценахъ допроса Тарелкина на дому и допроса въ кварталѣ, въ „Смерти Тарелкина“, несомнѣнно, отразились сцены допроса въ кварталѣ крѣпостныхъ Сухово-Кобылина.

Тюремной тоскѣ обязаны мы „Свадьбой Кречинскаго“,—и крикъ протеста, вопль измученнаго человѣка—эти двѣ пьесы — „Дѣло“ и „Смерть Тарелкина“, въ которыхъ Сухово-Кобылинъ позорнымъ клеймомъ, несмываемымъ клеймомъ сатиры, заклеймилъ „доброе, старое“, слава Богу, „отжитое“ уже время.

Профессоръ Маркевичъ.

Я помню одну встрѣчу съ профессоромъ А. И. Маркевичемъ.

Это было въ одесскомъ литературно-художественномъ обществѣ.

Усталый, обливаясь потомъ, шелъ толстый Маркевичъ изъ зала съ провинившимся видомъ.

Онъ только прочиталъ лекцію о Золя.

Изъ зала толпой валили слушатели, и Маркевичъ, мнѣ показалось, избѣгаетъ смотрѣть на нихъ: словно онъ сдѣлалъ имъ какую-то непріятность.

При появленіи профессора на каѳедрѣ переполненный залъ встрѣтилъ его громомъ аплодисментовъ. Профессоръ долго не могъ начать. Все привѣтствовали.

Когда онъ кончилъ лекцію, раздалось всего нѣсколько хлопковъ.

А лекція была превосходна.

— Что случилось, профессоръ?

Онъ улыбнулся сконфуженной, прямо страдающей улыбкой и извиняющимся голосомъ сказалъ:

— Длинна лекція вышла. Два часа. Длинна!

— Что за пустяки, простите, Алексѣй Ивановичъ! Весь Золя въ два часа! Какъ же вы его меньше-то уложите?

Маркевичъ развелъ руками:

— Длинна! Длинна!

— Такъ вы бы сдѣлали перерывъ!

Онъ сдѣлалъ озабоченное лицо.

— Нельзя перерывъ! Разъ ужъ они попали въ залу,— имъ надо все сказать. А то въ антрактѣ они разбѣгутся и на вторую половину не придутъ!

Публика расходилась, дѣйствительно, негодующая:

— Два часа!

— Битыхъ два часа!

Это говорилось нарочно громче, чтобъ виновный профессоръ слышалъ.

Чтобы наказать.

Всѣ торопились. Одни составить грошовый винтикъ, другіе въ дальнюю комнату рвать другъ у друга послѣдній рублишко въ баккара, третьи въ буфетъ—подкрѣплять свои силы, словно они только что съ тяжелой работы, четвертые флиртовать съ итальянскимъ теноромъ, который валялся на диванѣ, задравъ ногу на ногу, въ выглядывавшей изъ-подъ грязной рубашки пропотѣвшей фуфайкѣ, и грязными ногтями почесывалъ въ нечистыхъ волосахъ.

А Маркевичъ, какъ Чацкій, одинъ, брошенный, стоялъ среди гостиной.

Это была комичнѣйшая иллюстрація къ великолѣпной комедіи.

Глядь!..

(Оглядывается. Старики разбрелись по карточнымъ столамъ, молодежь кружится въ вальсѣ).

И толстый, пожилой Чацкій, отирая лившійся градомъ потъ со лба, пошелъ въ буфетъ отпиваться содовой водой.

Лекція Маркевича была блестяща. Критическій очеркъ на рѣдкость по глубинѣ, силѣ, красотѣ. Публика была интеллигентная. Сюжетъ — захватывающаго интереса. Лекторъ былъ Маркевичъ блестящій. Публика профессора Маркевича очень любила.

Но два часа!

— Маркевичъ лекцію читаетъ! Необходимо пойти! Нельзя не пойти! Стыдно не пойти!

Маркевичъ вышелъ на каѳедру.

— Любимый профессоръ! Овацію нужно! Аплодировать! Десять минутъ аплодировать! Браво, Маркевичъ! Браво! Господа, еще! Мало этого! Овацію! Грандіозную овацію!

Но вмѣсто того, чтобъ поиграть сюжетомъ, сказать нѣсколько фразъ бойкихъ, эффектныхъ, блестящихъ, которыя можно было бы прерывать аплодисментами, поклониться и уйти, онъ началъ говорить обстоятельно, серьезно, глубоко.

Публика обидѣлась:

— Здѣсь не университетъ! Мы не учиться пришли! Насъ учить нечего!

Этого даже любимому профессору простить невозможно:

— Будь профессоромъ, — твое дѣло! но этимъ не злоупотребляй! Простыхъ людей притѣснять не смѣй! Что это? Заманилъ „обаяніемъ своего имени“, воспользовавшись этимъ, учить началъ? Два часа училъ!

Это даже коварство.

Если ты „популярный“, выйди, блесни очаровательно и уйди. Но уйди!

Тогда у всякаго останется самое лучшее впечатлѣніе.

— Ну, что лекція Маркевича?

— Ахъ, знаете, изумительно! Мы его такой овацiей встрѣтили! Такой овацiей! Я всѣ ладони отхлопалъ!

— Маркевичу! Слѣдуетъ!

— И какой лекторъ! Я просто не замѣтилъ, какъ время пролетѣло! Блескъ! Блескъ, знаете! Не успѣлъ оглянуться! Когда онъ еще читать будетъ? Непремѣнно пойду.

— И я!

— И я! Разумѣется!

А тутъ...

Я не удержался и сказалъ Маркевичу:

— А знаете, Алексѣй Ивановичъ, теперь послѣ вашей лекціи вѣдь публика Золя возненавидитъ! Назло вамъ возненавидитъ!

Этотъ добродушный и милый толстякъ расхохотался:

— А что? Вѣдь, дѣйствительно, возненавидитъ!

Онъ закатывался, хохоталъ:

— Вотъ такъ услугу оказалъ писателю!

И безпомощно разводилъ руками:

— Не умѣю я для нихъ читать, какъ слѣдуетъ!

Какъ слѣдуетъ?

Одинъ изъ одесскихъ издателей при мнѣ умолялъ сотрудника:

— Голубчикъ, вопросъ важный! О немъ надо написать умно. Глубоко! Обстоятельно! Тепло чтобы было. Сильно. И чтобъ не больше двадцати строкъ! Главное, чтобъ было не больше двадцати строкъ.

— На двадцать трудно! — уныло говорилъ сотрудникъ.

— Голубушка, длиннаго не читаютъ! Вѣдь публика на газету какъ? Какъ воробей на окошко! Клюнулъ и улетѣлъ. Цопъ, схватилъ и упорхнулъ. Воробей! Ему крошка нужна. Крошка, голубушка!

— Да вѣдь изъ двадцати строкъ ничего не узнаютъ!

Издатель схватился за голову въ отчаяніи: „вотъ на непонятливаго человѣка напалъ“.

— Да кто нынче что хочетъ знать!

Онъ стоналъ:

— Кто нынче знать хочетъ? Кому нынче знать что нужно? Обижаются: „учатъ!“—говорятъ. Какъ надо писать? Сверкнулъ,—и исчезъ! Читатель,—взглянулъ, пробѣжалъ и доволенъ: „Я и самъ такъ думалъ! Молодцомъ пишетъ! Какъ въ объявленіи: мало строкъ и все содер-

жаніе!“ Въ этомъ весь секретъ успѣха. А разговаривать публика съ собой не позволяетъ!

И пока усталый лекторъ, пыхтя и отдуваясь, отпивался содовой водой, я думалъ:

— Вотъ бѣдняга! Вотъ недоразумѣніе! Ты старался нѣчто вложить,—какъ это громко называется,—въ „сокровищницу знаній“, а чувствуешь себя виноватымъ въ томъ, что „утрудилъ людей“. Сконфуженнымъ видомъ, сконфуженнымъ голосомъ ты какъ будто извиняешься, какъ будто у всѣхъ просишь прощенія. Какъ Раскольниковъ на Сѣнной! Кланяешься на всѣ четыре стороны: „Простите меня, люди добрые!“ Извиняешься въ томъ, что много думалъ, просишь прощенья за то, что много работалъ. Твое преступленіе, что ты хотѣлъ серьезно подѣлиться своей мыслью и работой, дать большой кусокъ,—а наказанье тебѣ—всеобщее порицаніе. Ты далъ большой кусокъ знанія. А воробьямъ нужны только крошки. И воробьи негодующе чирикаютъ и отмахиваются крылышками: къ этакой махинѣ и приступиться страшно. И не лишній ли вообще въ нашей жизни интеллигентный человѣкъ? Интеллигентный не потому, что онъ носитъ „интеллигентный сюртукъ“, а потому, что у него интеллигентный умъ. Настоящій интеллигентный человѣкъ, который вѣритъ въ знаніе, и только въ знаніе. Который знаетъ, что знанье — все. Если хочешь быть сильнымъ,—знай. Если хочешь быть побѣдителемъ,—знай. Если хочешь сдѣлать будущее свѣтлымъ, — знай. Кто хочетъ знать у насъ? Еще любятъ звонкія слова, но знанія не хочетъ никто кругомъ. Ѣдятъ, спорятъ, винтятъ, брюзжатъ. Въ антрактахъ между этимъ допускаютъ пѣвца, журналиста, ученаго. Но пѣвецъ пусть споетъ только отрывокъ изъ оперы, журналистъ напишетъ тепло, но двадцать строкъ, профессоръ, чтобъ не смѣлъ „утомлять“. Аплодисменты вамъ даютъ, но на серьезное вниманіе посягать не смѣйте! „Учить себя“ не позволятъ. Какъ

дикари, которые съ удовольствіемъ посмотрятъ туманныя картины, но лекціи по физикѣ слушать не станутъ. Никто ничѣмъ не интересуется, никто ничего не хочетъ, дѣйствительно, знать. Какъ должно быть тяжело интеллигентному человѣку среди „интеллигентныхъ сюртуковъ“.

Зато,—какъ говорятъ въ Одессѣ,—„Маркевичъ можетъ быть доволенъ: похоронили его великолѣпно“.

Похороны были, дѣйствительно, грандіозны и великолѣпны,—какъ выражаются въ Одессѣ на „магазинномъ языкѣ“,—до „nec plus ultra“.

У насъ интеллигентнымъ людямъ хорошо умирать, но плохо жить.

Годовщина.

Годъ тому назадъ мы хоронили товарища Н. И. Розенштейна.

Ему привелось слишкомъ мало работать въ Москвѣ, чтобъ его успѣли узнать, узнавши—оцѣнить, оцѣнивши—полюбить.

На похоронахъ были журналисты,—и ни одного изъ тѣхъ, ради кого онъ бился, работалъ. Никого изъ публики, общества.

Это были вдвойнѣ печальныя похороны.

Но сквозь „печали облако“ все же проглянуло солнце.

Только одинъ лучъ, но настоящаго солнца.

Когда нашъ маленькій кортежъ прибылъ на еврейское кладбище, оказалось, что надо ждать еще часа полтора.

— Роютъ другую могилу.

— Почему?

— Узнавъ, что покойный былъ журналистъ, ему, вмѣсто приготовленной, роютъ другую могилу, на почетномъ мѣстѣ.

Это было для меня ново и оригинально.

Я „привыкъ“ уже хоронить товарищей на Ваганьковскомъ.

Много ихъ тамъ лежитъ,—и друзей и бывшихъ „враговъ“.

Мы проходимъ обыкновенно среди пышныхъ мавзолеевъ.

„Мавзолеевъ первой гильдіи“.

Затѣмъ мы идемъ среди памятниковъ, убранныхъ засохшими лаврами.

Съ этихъ скромныхъ памятниковъ глядятъ громкія и славныя имена.

Это „труппа“ Ваганьковскаго кладбища.

Могилы великихъ артистовъ.

Мы выходимъ на край кладбища. Передъ глазами ширь и просторъ. По опушкѣ лѣса идутъ холмики безвѣстныхъ могилъ.

Тутъ и вырыта могила товарища.

И при видѣ забытыхъ на краю кладбища могилъ вспоминается горькій Некрасовскій стихъ.

Люди таланта жили, творили, страдали, а потомъ изъ нихъ, какъ говоритъ Базаровъ, „растетъ лопухъ“.

И только.

Мысль положить журналиста непремѣнно на почетномъ мѣстѣ принадлежала простымъ, совсѣмъ не интеллигентнымъ людямъ, завѣдующимъ еврейскимъ кладбищемъ „членамъ погребальнаго братства“.

Они врядъ ли читаютъ газеты, и о журналистѣ Розенштейнѣ никогда не слыхали.

— Онъ работалъ головой,—просто объяснилъ одинъ изъ членовъ братства,— его надо положить на почетномъ мѣстѣ.

И на почетномъ мѣстѣ рядомъ лежалъ на еврейскомъ кладбищѣ не банкиръ, а художникъ Левитанъ.

Говорятъ, что евреи цѣнятъ только деньги.

Это всѣ „знаютъ“, и въ этомъ никто не сомнѣвается.

Но среди еврейскихъ книгъ есть книга „Кабала“.

Это восточная поэма, цвѣтистая, фантастическая.

Настоящій „коверъ изъ цвѣтовъ фантазіи“, какъ зовутъ поэзію арабы.

Священную эту книгу признаютъ изъ евреевъ только „хассидимы“, — „трясущіеся“, названные такъ потому, что они прыгаютъ и трясутся всѣмъ тѣломъ, когда молятся. Они дѣлаютъ это въ буквальное исполненіе Писанія, гдѣ сказано, что, молясь, надо радоваться и трепетать всѣмъ существомъ своимъ.

Наивно вѣрующіе люди, они считаютъ и наивную поэму святой.

Въ этой поэмѣ разсказано о концѣ міра.

Когда евреи придутъ въ царство небесное, — „Тотъ, имени Котораго не дерзаетъ произносить языкъ“, будетъ такъ радъ увидѣть Свой избранный народъ, что не будетъ знать, чѣмъ выразить Свою радость.

У Адоная есть одна забава — рыба Левіаѳанъ.

Во время отдыха онъ играетъ съ этой рыбой.

И Адонай-Іегова, чтобъ показать избранному народу свою радость, изготовитъ эту рыбу и угоститъ ею желанныхъ и жданныхъ гостей.

— И будутъ ѣсть ту рыбу, — говоритъ поэма, — ученые — съ головы, а неучи — съ хвоста.

Такъ думаетъ о работѣ мысли тотъ народъ, про который говорятъ, что онъ цѣнитъ только деньги.

Согласитесь, что это странно!

Люди такъ высоко цѣнятъ мысль, знаніе людей, которые „работаютъ головой“.

А между тѣмъ всѣ „знаютъ“, что они цѣнятъ, умѣютъ цѣнить, могутъ цѣнить только деньги, и ничего, кромѣ денегъ!

Откуда знаютъ?

Талмудъ говоритъ:

— Въ рѣкѣ есть всякая рыба,—хорошая и плохая. Но тухлая рыба плаваетъ сверху, воняетъ, и ее всѣ видятъ.

Видятъ и думаютъ, что „знаютъ“ всю рѣку до дна.

Въ годовщину товарища мнѣ казалось лучшимъ способомъ почтить его память: сказать нѣсколько словъ о томъ народѣ, однимъ изъ лучшихъ представителей котораго онъ былъ.

Пусть это будетъ на могилу труженика мысли маленькимъ вѣнкомъ изъ простыхъ полевыхъ цвѣтовъ поэзіи его народа.

Старый палачъ.

(сахалинскій типъ).

Въ кандальномъ отдѣленіи „Новаго Времени“, въ подвальномъ этажѣ, живетъ старый, похожій на затравленнаго волка, противный человѣкъ, съ погасшими глазами, съ болѣзненнымъ, землистымъ лицомъ, съ рыжими полусѣдыми волосами, съ холодными, какъ лягушка, руками.

Это старый палачъ Буренинъ. Сахалинская знаменитость.

Всѣми презираемый, вѣчно боящійся, оплеванный, избитый, разъ въ недѣлю онъ полонъ злобнаго торжества— въ день „экзекуцій“.

Свои мерзкія и жестокія экзекуціи онъ производитъ по пятницамъ.

Это — „его день!“

Онъ беретъ своей мокрой, холодной рукой наказуемаго и ведетъ въ свой подвальный застѣнокъ.

Съ мерзкой улыбкой онъ обнажаетъ дрожащаго отъ отвращенія и ужаса человѣка и кладетъ его на свою „кобылу“.

Отъ этого безстыднаго зрѣлища возбуждается палачъ. Онъ торжествуетъ. Задыхаясь отъ злобной радости, онъ кричитъ свое палачское:

— Поддержись! Ожгу!

И „кладетъ“ первый ударъ.

— Рѣже! Крѣпче!

И опьянѣвшій отъ злобы и подлаго торжества палачъ часа три-четыре истязаетъ жертву своей старой, грязной, пропитанной человѣческой кровью, плетью.

Истязаетъ умѣлой, привычной рукой, „добывая голоса“, добиваясь крика.

Если жертва, стиснувъ зубы, полная презрѣнія, молчитъ, не желая крикнуть передъ палачомъ, злоба все сильнѣе сжимаетъ сердце стараго палача, и, блѣдный, какъ смерть, онъ бьетъ, бьетъ, бьетъ, истязуетъ, калѣчитъ жертву, „добывая голоса“!

Это молчаніе, полное презрѣнія, бьетъ его по блѣдному лицу — его презираютъ даже тогда, когда онъ молчитъ.

И онъ задыхается отъ злобы.

Если жертва не выдержитъ прикосновенія грязной, человѣческой кровью пропитанной, плети, и у нея вырвется крикъ,—эти крики и стоны опьяняютъ палача.

— Что ты? Что ты?—говоритъ онъ съ мерзкой и пьяной отъ сладострастья улыбкой.—Потерпи! Нешто больно? Нешто такъ бьютъ! Вотъ какъ бьютъ! Вотъ какъ! Вотъ какъ!

И онъ хлещетъ, ужъ не помня себя.

И чѣмъ чище, чѣмъ лучше, чѣмъ благороднѣе лежащая передъ нимъ жертва, чѣмъ большей симпатіей, любовью, уваженіемъ пользуется она, тѣмъ больше злобы и зависти просыпается въ душѣ стараго, презрѣннаго, оплеваннаго, избитаго палача.

Тѣмъ больше ненависти къ жертвѣ чувствуетъ онъ и тѣмъ больше тѣшитъ себя, терзая и калѣча палачской плетью свою жертву.

Случалось ему и вѣшать.

Его всѣ избѣгаютъ,и онъ избѣгаетъ всѣхъ.

Угрюмый, понурый, мрачный, онъ пробирается сторонкой, по стѣнкѣ, стараясь быть незамѣченнымъ, каждую минуту ожидая, что его изобьютъ, изобьютъ больно,

жестоко, безъ жалости, безъ состраданья. Вся жизнь его сплошной трепетъ.

— Не тяжко это, Буренинъ?

— Должность такая,— угрюмо отвѣчаетъ онъ,— я въ палачахъ давно. И мнѣ изъ палачей ужъ нельзя. Мнѣ страхъ надо нагонять. Я страхомъ и держусь. Они меня ненавидятъ...

И съ какой ненавистью онъ говоритъ это „они". „Они", это — всѣ.

— Они и за человѣка меня не считаютъ. Я для нихъ хуже гадины. Я вѣдь знаю. Подойдетъ иной, руку даже протянетъ. А я-то не вижу развѣ? Дрожь по немъ пробѣгаетъ отъ гадливости, какъ мою скользкую холодную руку возьметъ. Словно не къ человѣку, а къ жабѣ притронулся. Тьфу!.. Убьютъ они меня, ваше высокоблагородіе, ежели я палачество брошу.

И такая тоска, смертная тоска звучитъ въ этомъ „убьютъ".

— И не жаль вамъ „ихъ", Буренинъ?

— А „они" меня жалѣли? — и въ его потухшихъ глазахъ вспыхиваетъ мрачный огонекъ. — Меня тоже драли! Безъ жалости, безъ милосердія драли, всенародно. Глазъ никуда показать нельзя: всѣ съ презрѣніемъ, съ отвращеніемъ глядятъ. Такъ драли, такъ драли, — съ тоской, со смертной тоской говоритъ онъ,— у меня и до сихъ поръ раны не зажили. Гнію весь. Такъ и я же ихъ! Пусть и они мучатся! И я на нихъ свое каторжное клеймо кладу. Выжигаю клеймо.

— Да вѣдь ваше, палачское, клеймо не позорно, Буренинъ.

— А все-таки больно. Больно все-таки!

— И много вы, Буренинъ, народу... вашей плетью...

— Да, будетъ-таки! — подтягиваясь и выпрямляясь, отвѣчаетъ старый палачъ, и въ голосѣ его звучитъ хвастовство. — Не сочтешь! Какихъ-какихъ людей передо

мной не было! Э-эхъ! Вспомнишь,—сердце чешется! По Тургеневу, Ивану Сергѣевичу, моя грязная плеть ходила. Чистый былъ человѣкъ, хрустальной чистоты, какъ святого его считали. Нарочно грязью плеть измазалъ, да по чистому-то, по чистому! Самыя мѣста такія выбиралъ, чтобы больнѣй было. Попоганѣе бить старался, попоганѣе! Со внѣдреніемъ въ частную жизнь, можно сказать! Чтобъ гаже человѣку было. Гаже-съ. На это у меня рука! Хлещу и чувствую, что человѣкъ не столько отъ боли, сколько отъ омерзенія ко мнѣ содрогается, сердце во мнѣ и разгорается: какъ бы побольнѣе да погаже, попоганѣе-съ! И кого только я вотъ этакъ... погано-то... Все, что только лучшимъ считалось. Чѣмъ только люди гордились. Изъ художниковъ Рѣпинъ, Антокольскій, Ге покойникъ, изъ писателей Короленко, Маминъ, Михайловскій-критикъ, строптивый человѣкъ...

— Почему же строптивый, Буренинъ?

— Похвалить я разъ его задумалъ, съ лаской къ нему подошелъ. Онъ отъ меня, какъ отъ нечести, отшатнулся: „Не смѣй, — кричитъ, — меня, палачъ, своей палачской рукой трогать. Истязать ты меня можешь,—на то ты и палачъ, но протягивать мнѣ твоей поганой руки не смѣй“. Гордый человѣкъ! А я вѣдь къ нему съ лаской... Эхъ, много, много ихъ было. Скабичевскій, Стасовъ, Чеховъ, Антонъ Павловичъ, Немировичъ-Данченко, Василій и Владимиръ, Боборыкинъ, Плещеевъ—покойникъ, самъ Толстой, Левъ Николаевичъ, меня знаетъ.

— И его?

— Всѣхъ поганилъ. Не пересчитать! Еще одинъ былъ... Ну, да что вспоминать!

— Какъ же вы, Буренинъ, надъ ними дѣйствуете? Поодиночкѣ?

— Зачѣмъ поодиночкѣ! Какое же это удовольствіе? Какая же радость? Нѣтъ-съ, чтобы всѣхъ присныхъ его истязать. Со всею семьею, съ дѣтьми, любовницу, если

есть. Со „внѣдреніемъ"! Это-съ пытка! Это-съ мучительство! Другой храберъ. Его-то плетью бьешь,—„плевать! — говоритъ, — на этой плети столько праведной человѣческой крови, сколько и въ тебѣ-то крови не осталось!" А начнешь истязать, да при всѣхъ обнажать, да срамить-то его жену,—онъ и закричитъ. Голосъ,—хе-хе!—подастъ! Боли не выдержитъ. Это что,—человѣка взять, когда онъ въ кабинетѣ сидитъ, сочиненіе пишетъ! Нѣтъ, въ спальню къ нему забраться, взять его, тепленькаго, когда онъ въ постели лежитъ. Тогда взять его и жену и въ подвалъ къ себѣ привести—и передъ публикой-то ихъ голыми, голыми! Срамить! Да плетью-то не по немъ, а по женѣ, по женѣ, на его-то глазахъ! Крикнетъ! Какой ни будь человѣкъ, не выдержитъ... Хорррошо! Тьфу! При одномъ воспоминаніи слюной давишься!

— Вы и женщинъ, Буренинъ? Тоже въ частную жизнь...

— Безъ числа! Ихъ-то самая и прелесть. Потому мужчину надо съ опаской. А женщина, что она? Слабенькая-съ... Особливо, когда заступиться за нее некому. Ну, и начнешь! Иногда даже, случалось, перекладывалъ. Женщину-врача, изволили слыхать, Кашеварову-Рудневу разъ взялъ... Ну, и того! Переложилъ. Подъ судъ отдали. Посадили.

— Васъ, Буренинъ?

— Нѣтъ, наемнаго человѣка. Меня-то за что же-съ? Я палачъ. Мое дѣло такое.

— Ну, а вѣшать вамъ, Буренинъ, приходилось?

Блѣдное лицо стараго палача дернулось, потемнѣло, въ потухшихъ глазахъ загорѣлся еще мрачнѣе огонь, и онъ сдавленнымъ голосомъ отвѣтилъ:

— Бывало.

— И не страшно, Буренинъ?

— Спервоначалу жутко. Какъ повѣсишь его, западню-то изъ-подъ него вышибешь, какъ закрутится онъ на веревкѣ, ногами часто-часто перебираетъ,—въ душу подступаетъ...

И Буренинъ указалъ куда-то на селезенку.

— Былъ одинъ тутъ... покойникъ... Фу, Ты, Господи! Даже „царство ему небесное“ языкъ сказать не поворачивается...

Старый палачъ съ трудомъ перевелъ духъ.

— Молодой былъ... Волосья длинные... Стихи онъ писалъ... И такіе задушевные, грустные... словно душа съ тѣломъ разставалась... Быдто чувствовалъ, что конецъ его близокъ... Глаза были такіе большіе, большіе... Мучительные глаза, и мученическіе... Чахотка у него была... Ну, я его и того... и прикончилъ...

— За что же, Буренинъ?

— Шибко я въ тѣ поры, ваше высокоблагородіе, золъ былъ. Въ душѣ ажъ смердѣло, до того лютъ былъ... Чистъ больно ходилъ!.. Чистый былъ человѣкъ, насквозь его видать было... Самъ-то больной, еле дышитъ, умирающій, а гдѣ доброе дѣло, въ пользу бѣдныхъ, больныхъ что затѣвается, онъ тамъ первый... Не токмо притащится, на рукахъ принесутъ его, умирающаго... На него всѣ только-только Богу не молились... Святымъ его почитали... И такъ мнѣ, ваше высокоблагородіе, отъ его чистоты моя грязь засмердѣла! Мѣста себѣ не нахожу! Возненавидѣлъ я его, какъ Каинъ Авеля... Разгорается у меня душа... „Вѣдь вотъ,—думаю,—какъ людей люди любятъ, а я-то, я-то... словно гадина хожу, сторонятся всѣ“... И такая меня злоба взяла... я его и покончилъ...

— Сразу, Буренинъ?

— Нѣтъ, мучилъ. Долго мучилъ. Больной онъ, говорю былъ, чахоточка у него была, кровьицей онъ кашлялъ. Такъ я его по больному-то, по больному-то... Хлынетъ у него кровь,—вижу нельзя больше, такъ я, кто ему ближе, дороже, раздѣну, обнажу, да плетью-то, плетью грязной, да при немъ-то, при умирающемъ, при истерзанномъ. „Смотри, молъ, хорошо? А? Хорошо?“ Смотритъ онъ своими глазами, большими, страдальческими, мучится,

страждетъ, помочь-то не можетъ: кровь его душитъ, мной же вызванная кровь... Мучилъ я его долго... До такихъ поганствъ доходилъ, до какихъ никогда не доживалъ... Однако, вырвали у меня его тѣло и въ теплые края повезли, чтобъ оправился. Тутъ на меня прямо смрадъ нашелъ.. Задыхаюсь... „Ужели,—думаю,—уйдетъ?..“ Тутъ я его и прикончилъ... Затянулъ петлю,—задрожалъ онъ весь, кровь пѣной, пѣной пошла, въ моихъ рукахъ и померъ.

— И не жаль, Буренинъ?

— Страшно было очень... Потомъ прошло... А сперва-началу такъ страшно было... Кругомъ всѣ сторонятся: „Убійца!..“ И самъ знаю, что убилъ, а мнѣ все кажется, что живъ „онъ“... Войдешь это, бывало, въ пятницу, въ свой день, въ подвалъ свой, грязный, холодный, темный, человѣческой кровью испачканный, замахнешься плетью, чтобъ кого истязать начать,—передъ мною „онъ“... Глаза большіе, страдальческіе, по губамъ алая кровь бѣжитъ... На меня глядитъ... „Живъ!“ думаю... Волосы на головѣ шевелятся... Бросишь другого-то, да за него... Опять его вѣшать начнешь... Надъ тѣломъ ругаешься: „Да умри, ты! Когда ты умрешь?..“ Петлю-то на мертвомъ ужъ затягиваешь, ногами топчешь... „Умри!..“ Сколько разовъ я покойника вѣшалъ... Повѣсишь и на ноги ему повиснешь: „Умри! Совсѣмъ умри!“ Все являлся. Года три мучился...

— Ну, а теперь, Буренинъ?

— И теперь является. Рѣдко только... Останешься этакъ въ кабинетѣ одинъ, вечеромъ, возьмешься за перо, глянешь, а изъ темнаго угла-то „онъ“ выходитъ. Волосы длинные, лицо блѣдное, глаза большіе, большіе, широко раскрыты, и на губахъ все кровь... Живая кровь...

— Ну, и что же, Буренинъ?

Лицо стараго сахалинскаго палача передернулось.

— Осиновый колъ покойнику въ могилу затесываю!.. И до сихъ поръ...

— Еще разъ,—и не жаль вамъ, Буренинъ, ни себя ни другихъ?

Онъ только рукой махнулъ.

— Себя-то ужъ поздно жалѣть! А другихъ? Какъ ихъ, чертей, жалѣть, когда бьютъ они меня, походя, какъ собаку бьютъ!

И въ голосѣ стараго палача зазвучала нестерпимая, непремиримая злоба, которой нѣтъ конца, нѣтъ предѣла.

— Какъ бьютъ, Буренинъ?

Бьютъ! Безъ жалости, безъ милосердія бьютъ! Безъ счета! Дѣвушку одну, артистку, въ Варшавѣ убили! Ну, я взялъ покойницу, обнажилъ и началъ плетью, плетью... Вѣдь покойница, не больно ей, дай человѣку душу-то, душу потѣшить... Такъ и трупъ отняли, и того жалко! Явились, бить явились, кричали, изломать, измолотить хотѣли. Я ужъ подъ столъ спрятался, сидѣлъ, не дышалъ, боялся—увидятъ, изобьютъ, кости у меня ныли...

И когда онъ говорилъ о „трупѣ“, онъ былъ похожъ на огромнаго разозленнаго голоднаго ворона, у котораго отняли падаль.

— Писателя одного стараго... Почтенный такой былъ, его тоже праведникомъ считали... Я „взялъ“ его, какъ люблю... Съ женой, да по ней-то по ней... Сынъ его меня на Невскомъ встрѣтилъ да палкою, палкой... Развѣ „они“ разбираютъ, какъ бьютъ! Гдѣ попадутъ, тамъ и бьютъ. Не давно тоже... Началъ я это „экзекуцію“ надъ недругами своими производить да грязными руками за близкихъ имъ людей, а—„они“ собрались и меня! Какъ били! Косточки мои болятъ, какъ били!.. Да всѣхъ-то и не пересчитаешь, кто билъ... А плюютъ-то, плюютъ какъ при этомъ...

Буренинъ схватился за голову.

И онъ былъ мнѣ больше не ужасенъ, не отвратителенъ, онъ былъ мнѣ жалокъ, безконечно жалокъ, этотъ, озлобленный, оплеванный старый литературный палачъ.

Герои дня.

Герой дня, безспорно, г. Литвинъ.

О немъ говоритъ вся русская пресса.

И благодаря нескромности газетъ, мы знаемъ имя этой „прелестной маски".

Его зовутъ...

Тутъ мнѣ вспоминается эпизодъ, приключившійся когда-то съ петербургскимъ литераторомъ Z, который былъ не только извѣстенъ писаньемъ доносовъ, но даже служилъ... „и хорошо служилъ", какъ говоритъ Хлестаковъ.

Въ то время петербургскіе журналисты часто сходились въ какомъ-то ресторанчикѣ, носившемъ названіе „литературнаго".

Тамъ же засѣдалъ всегда и одинъ отставной генералъ, большой любитель литераторовъ и литературы.

Однажды вечеромъ генералъ сидѣлъ въ компаніи съ литераторами, а за сосѣднимъ столикомъ помѣстился въ одиночествѣ Дзэтъ.

Дзэту давно хотѣлось познакомиться съ генераломъ

Онъ улучилъ минутку, чтобы ввязаться въ разговоръ, и деликатненько вставилъ замѣчаніе:

— Позвольте сказать, ваше превосходительство, что въ данномъ случаѣ вы не совсѣмъ, ваше превосходительство, по моему мнѣнію, правы...

Генералъ „воззрился":

— А съ кѣмъ имѣю честь говорить, имени, отчества, фамиліи вашей не знаю!

Дзэтъ вскочилъ, шаркнулъ ножкой и поспѣшилъ отрекомендоваться:

— Моя фамилія— Дзэтъ!

Генералъ отступилъ на два шага, поднялъ руки и, трагически потрясая ими, воскликнулъ съ ужасомъ:

— Не называйся!

И такъ г. Литвина зовутъ С. К. Эфрономъ.

— Не называйся!

„Сѣверо-Западное Слово“ сообщаетъ, что этотъ г. Эфронъ давно уже знаменитъ въ Вильнѣ.

Онъ занимался маклерствомъ, продавалъ какіе-то звѣринцы.

Пытался сорвать гдѣ-то какой-то куртажъ, но, претерпѣвъ неудачу, занялся другими дѣлами,—не лучше.

Онъ написалъ пьесу „Сыны Израиля“, у которой есть исторія и даже географія.

„Театръ и Искусство“ вспоминаетъ:

— Въ Одессѣ г-жа Волгина поставила эту пьесу, но спектакля не докончили, потому что пришлось вызвать сотню казаковъ для полнаго „ансамбля“.

„Будущность“ припоминаетъ:

— Въ январѣ этого года актеръ г. Травинскій, игравшій въ Екатеринбургѣ, хотѣлъ поставить пьесу г. Эфрона въ свой бенефисъ, но начальникъ губерніи не разрѣшилъ этого.

Когда ее хотѣли поставить въ Севастополѣ, актеры отказались играть и возвратили роли.

Когда ее хотѣли поставить два года тому назадъ въ Петербургѣ, въ пьесѣ отказался играть г. Далматовъ, отказался играть г. Бравичъ. Теперь отказались играть г-жа Яворская, г. Яковлевъ.

Такова пьеса.

Ее никто не хочетъ играть.

А когда находятся актеры, готовые сыграть даже эту пьесу,—ее вышвыриваетъ администрація.

Когда же и администрація оказываетъ пьесѣ „терпимость“,—для успѣха пьесы приходится вызывать сотню казаковъ.

И такъ отъ Екатеринбурга до Севастополя!

Пьесу вышвырнули съ Александринской сцены, несмотря на то, что на ней есть бланкъ Крылова, — а съ этимъ бланкомъ на этой сценѣ пьесы учитываются всегда.

Онъ имѣетъ кредитъ въ учетномъ комитетѣ, который называется театрально-литературнымъ.

Когда, наконецъ, отовсюду изгнанный г-нъ Эфронъ принесъ подкинуть своихъ „Сыновъ“ въ Малый театръ, то даже въ Маломъ театрѣ ему сказали:

— Вы бы, все-таки, того... Прикрылись... И сами бы прикрылись и пьесу прикроете!

Г. Эфронъ самъ прикрылся псевдонимомъ „Литвинъ“, а пьесу прикрылъ названьемъ „Контрабандисты“.

И вотъ Малый театръ переживаетъ теперь послѣдній день приговореннаго къ смерти.

Къ артистамъ являются депутаціи отъ публики,— люди, знакомые только съ тѣмъ, что лучшаго есть въ артистѣ,—съ ихъ талантомъ, а не съ ними лично.

И говорятъ:

— Мы любимъ васъ. Мы уважаемъ васъ. Неужели вы будете играть въ такой пьесѣ?

И эти люди—не евреи, это русскіе обращаются къ артистамъ.

Растерянные артисты прибѣгаютъ къ знакомымъ, умоляя прійти на генеральную репетицію:

— Скажите, что тамъ нужно вычеркнуть! Какъ „почистить“ пьесу?

Опять-таки они обращаются не къ евреямъ. Они обращаются къ русскимъ людямъ, потому что русскому обществу претитъ эта пьеса.

Русское общество возмущено.

Русское общество протестуетъ:

— Довольно грязи! Доносовъ! Клеветы! Мы не хотимъ, чтобы и сцену превращали въ каѳедру гнусности.

Даже сцену Малаго театра! Потому что и въ „бельёрничествѣ“ должны быть границы.

И вотъ среди этого шума, среди ропота негодованія, раздается громкій женскій голосъ:

— Пустите меня! Впередъ пустите! Меня впередъ! Меня! Меня!

Чей это знакомый голосъ?

Прислушаемся...

— Меня впередъ! Меня!

Да это г-жа Яворская!

— Господа, пропустите г-жу Яворскую впередъ!.. Ради Бога, что случилось?

— Я отказалась играть въ этой пьесѣ! — трагически говоритъ г-жа Яворская.

— И были совершенно правы! Не приходите отъ этого въ трагическое настроеніе! Разъ пьеса, по вашему мнѣнію, клевета,—всякій человѣкъ имѣетъ право отказаться повторять клевету. И артистъ, конечно, въ томъ числѣ. Успокойтесь! Другіе до васъ поступали точно такъ же. Изъ-за чего же столько волненій? Зачѣмъ впадать въ трагедію? Успокойтесь! Ей Богу, вы ничего особеннаго не сдѣлали!

Но г-жа Яворская взволнована.

— Я отказалась! Я отказалась! И объ этомъ напечатано въ газетахъ. Вотъ „Сѣверный Курьеръ!“ Читайте! Читайте! Всѣ, всѣ читайте! Объ этомъ напечатано въ газетахъ.

Остается улыбнуться и сказать:

Надо терпѣть, г-жа Яворская! Что дѣлать! Ваша судьба!

Когда г-жа Яворская ѣдетъ на гастроли по провинціальнымъ городкамъ,— всѣ телеграфныя проволоки звенятъ.

И даже въ Иркутскѣ изумленный редакторъ мѣстной газеты получаетъ телеграмму „Россійскаго агентства“:

Мелитополь. Гастроли г-жи Яворской возбуждаютъ невиданный даже въ Парижѣ фуроръ.

Когда г-жа Яворская читаетъ на пушкинскихъ торжествахъ, не поймешь:

— Да при чемъ же Пущкинъ въ этомъ чествованіи г-жи Яворской?

Такъ много въ дружественныхъ газетахъ пишутъ о г-жѣ Яворской и такъ мало о Пушкинѣ.

Въ г-жу Яворскую влюблены всѣ типографскія машины и телеграфныя проволоки.

Что дѣлать, сударыня! Надо терпѣть! До сихъ поръ писали только тогда, когда вы играли, теперь, оказывается, будутъ писать даже тогда, когда вы не будете играть! „Шла пьеса такая-то. Г-жа Яворская не играла и была очень хороша“. Надо терпѣть! Слава!

Тутъ г-жа Яворская принимаетъ самую трагическую изъ своихъ трагическихъ позъ, мучительно сжимаетъ свои руки, закатываетъ глаза. Мертвенная блѣдность покрываетъ ея лицо, она говоритъ сквозь зубы потрясающимъ голосомъ, въ которомъ слышно страданіе и даже самая смерть:

— Я пострадала! Поймите вы! Я по-стра-да-ла!!!

Мы всѣ наполняемся ужасомъ:

— Какъ? Когда? Гдѣ?

— Я жертва безчеловѣчной мести! — трагически продолжаетъ г-жа Яворская.—Послѣ того, какъ я отказалась играть въ пьесѣ Литвина, и объ этомъ появилось въ газетахъ, я играла „Безправную“, и вотъ вамъ № „Новаго Времени“.

Она съ трагическимъ хохотомъ подаетъ намъ нумеръ газеты:

— Ни слова о мнѣ! Я жертва мщенья! Я пострадала! Я по-стра-да-ла!!!

Намъ снова остается только улыбнуться и начать утѣшать страдающую женщину.

— Да полноте, да что вы? Ну, какое же тутъ страданіе? Улыбнитесь надъ такимъ мщеніемъ! Ну, улыбнитесь! Это ударъ кинжала, который только заставляетъ смѣяться людей, боящихся щекотки! Ей Богу, вы напрасно дѣлаете изъ этого трагедію! Ея Богу, ничего особеннаго не случилось!

Сотни разъ вы играли плохо, а „Новое Время“ писало, что вы играли превосходно.

Театръ былъ пустъ, а „Новое Время“ увѣряло, что онъ былъ переполненъ.

Шикали, а „Новое Время“ писало:

— Была устроена грандіозная овація!

Публика смѣялась, а „Новое Время“ говорило:

— Публика плакала.

Теперь вы играли, а „Новое Время“ объ этомъ не сообщило.

Что же случилось особеннаго?

Оно лишній разъ утаило отъ публики истину относительно васъ.

Только и всего!

Наконецъ, вотъ вамъ утѣшеніе.

Достаньте вырѣзку изъ „Новаго Времени“ и прочтите знаменитую телеграмму о томъ, будто въ Парижѣ предполагается международный вечеръ съ участіемъ трехъ звѣздъ: Сарры Бернаръ, Элеоноры Дузэ и Сарры-Элеоноры Яворской!

Тоже ничего не было, а напечатали, будто было.

Теперь было, а промолчали: словно и не было.

Вотъ и квиты!

Улыбнитесь же.

— Я не могу улыбаться!—говоритъ г-жа Яворская.

— Она по-стра-да-ла! — мрачно вторитъ „Сѣверный Курьеръ".

Господа, зачѣмъ пугать людей и разсказывать „ужасти".

Самый забавный водевиль,—и только.

Развѣ до сихъ поръ въ „Новомъ Времени" были рецензіи о г-жѣ Яворской?

Это были панегирики, оды, акаѳисты, но не рецензіи.

Какъ бы ни играла г-жа Яворская, писали:

— Превосходно!

Это было сладкое, которое подносили г-жѣ Яворской.

Ну, вотъ. Г-жа Яворская разсердила г. Суворина, онъ и оставилъ ее безъ сладкаго.

Какая же это трагедія?

Ну, что это будетъ за трагедія? Судите сами!

Сцена представляетъ какую-то средневѣковую площадь. Стоны. Толпа.

Г-жа Яворская. Къ столбу меня! Къ столбу!

Горожане. Да зачѣмъ? Зачѣмъ?

Г-жа Яворская. Нѣтъ, нѣтъ, къ столбу! Какъ мученица, хочу быть у столба! Пусть меня сожгутъ на кострѣ изъ пьесы „Контрабандисты"! Похороните меня рядомъ съ Іоанномъ Гуссомъ и напишите объ этомъ въ газетахъ.

Горожане. Да не умирайте вы, Лидія Борисовна! Вѣдь это будутъ слезы! Горькія слезы!

Г-жа Яворская. Ахъ, не просите! Я умру, я непремѣнно умру! Вотъ еще новости! Я помирать хочу, а они говорятъ: не помирайте! Хочу страдать,— и страдаю. Захочу помереть,— и помру.

(Въ отдаленіи слышится голосъ г. Суворина).

Голосъ г. Суворина *(поетъ)*.

Захочу, — напишу,
Захочу, — промолчу,
Мнѣ газета дана-а-а,
Вся послушна мнѣ сполна!

Г-жа Яворская. Голосъ Торквемады! Зажигайте костеръ и напишите въ газетахъ! *(Вдохновеннымъ голосомъ.)* Народъ, народъ, страдавшій много! О, Агасферъ—народъ! Смотри, какъ за тебя здѣсь погибаю я! Я мученица, я жертва! Костеръ! Огня!

1-й горожанинъ. Должно-быть, сильно мучается барыня! Смерти проситъ!

2-й горожанинъ. Пыткамъ ее подвергали, видно!

3-й горожанинъ *(съ увлеченіемъ)*. Жилы тянули-съ! Да какъ! Медленно!

4-й горожанинъ *(увлекаясь еще сильнѣе)*. Колесовали!

5-й горожанинъ *(увлекшись окончательно)*. Руки, ноги, голову отрубили!

6-й горожанинъ. Буде врать-то! Хоть бы узнать, въ чемъ дѣло. У курьера, что ли, спросить! Послушай, любезный, разскажи, въ чемъ дѣло!

Сѣверный Курьеръ *(горячо)*. Въ нашъ вѣкъ универсальнаго прогресса гуманныхъ и утилитарныхъ идей, когда каждый индивидуумъ, безъ всякой санкціи импозантныхъ авторитетовъ, доктринеровъ дряхлѣющей рутины, смѣло заявляетъ свои легальныя права...

Горожане *(задумчиво)*. Тэкъ-съ!.. Вонъ оно что... Да мучили-то чѣмъ? Мучили-то?

Г-жа Яворская *(умирающимъ голосомъ)*. Меня... меня... меня...

Горожане. Да не томи, скажи!

Г-жа Яворская. Меня оставили безъ сладкаго!

(Народъ безмолвствуетъ).

Ну, какая же это трагедія? Это водевиль.

И тамъ, гдѣ поднимается общественное негодованіе, нѣтъ мѣста такимъ фарсамъ. Истерическія выкрикиванія только лишаютъ его серьезности и внушительности.

Мнѣ, тѣмъ не менѣе, жаль г-жу Яворскую, попавшую хоть и въ водевильную бѣду. И чтобъ утѣшить ее, я готовъ ей посвятить одну страничку изъ моихъ воспоминаній.

Дама въ палевомъ платьѣ.

(Посвящается Л. Б. Яворской).

Хоронили Жюля Симона.

На похоронахъ былъ „весь Парижъ".

Процессія входила на Монмартрское кладбище.

Впереди несли гробъ, покрытый трехцѣтнымъ знаменемъ.

За гробомъ шли родные, за ними—представитель президента, за нимъ—правительство, за нимъ—сенаторы. За сенаторами — депутаты. За депутатами—безсмертные въ мундирахъ, вышитыхъ пальмами. За безсмертными—журналисты.

А среди журналистовъ шла дама, которая, ужъ когда процессія была на кладбищѣ, спросила:

— Кстати, кого хоронятъ?

Журналисты улыбнулись.

Не успѣли они, однако, отвѣтить, какъ дама была уже среди безсмертныхъ.

Приподнявъ страшно шумѣвшее шелкомъ платье, она шагала быстро и энергично.

— Ого! Какъ скоро прошла въ безсмертные! — сказалъ кто-то.

„Безсмертные" съ изумленіемъ глядѣли на шествовавшую среди нихъ даму.

Но не прошло и двухъ минутъ, какъ кто-то воскликнулъ:

— Смотрите, смотрите! Она ужъ въ депутатахъ!

— Она проходитъ въ сенатъ!

Про Жюля Симона, кажется, всѣ забыли.

Всѣ были заняты дамой.

— Держу пари,—воскликнулъ кто-то,—что она пройдетъ въ президенты!

А дама ужъ шла во главѣ кортежа, рядомъ съ изумленнымъ представителемъ главы государства.

— Ей остается теперь только одно!

— Что именно?

— Выбросить изъ гроба Жюля Симона и лечь самой въ гробъ, чтобы быть первымъ лицомъ на похоронахъ.

Но дама, однако, этого не сдѣлала.

Письмо Хлестакова.

Парижъ, 1-го мая.

Душа Тряпичкинъ.

Жизнь моя проходитъ въ хлопотахъ и заботахъ объ отечествѣ. Что, братъ, дѣлать: хоть и изъ Moulin Rouge, а патріотъ.

Я, братъ, тутъ теперь почетнымъ членомъ русской торговой палаты состою. Меня многіе за государственнаго человѣка принимаютъ.

И знаешь, кто меня устроилъ? К. А. Скальковскій.

Ты долженъ его знать. Бывшій директоръ горнаго департамента, знаменитый сочиненіями о возвышенностяхъ балеринъ, тайный совѣтникъ, написавшій изслѣдованіе о Фуфу. Любитъ биржу и изящное. Un homme d'état de chez Maxim's.

Онъ предсѣдателемъ, а меня почетнымъ членомъ. Самъ и ввелъ.

— Рекомендую, — говоритъ, — молодой человѣкъ. Направленія самаго симпатичнаго. Прямо съ вокзала въ Monlin Rouge поѣхалъ. Не нигилистъ какой-нибудь. Ручаюсь.

— Ну,—говорятъ,—разъ ужъ вы, Константинъ Аполлоновичъ, такъ аттестуете... Вамъ эти мѣста лучше знать.

И приняли.

У насъ, братъ, засѣданія. Хотимъ вопросы экспорта и импорта урегулировать. Развить, — понимаешь. Свести, такъ сказать, двѣ страны.

За успѣхъ ручаться можно: меня ты знаешь, ну, а на К. А. Скальковскаго можешь, какъ на меня, положиться.

На-дняхъ онъ намъ первый докладъ дѣлалъ. У Максима.

— Милостивыя,— говоритъ,— государыни и милостивые государи! Хотя милостивыхъ государынь между нами, къ сожалѣнію, и нѣтъ, но это ничего не значитъ: я всегда себѣ милостивыхъ государынь мысленно представляю. И о чемъ бы писать ни началъ, непремѣнно сведу все на кокотокъ. Такъ же поступлю я и теперь: извѣстно, что строго выдержанное направленіе въ государственномъ человѣкѣ прежде всего. Итакъ, милостивые государи! Давно занимаясь въ печати горизонтальнымъ ремесломъ, т.-е. описывая такъ называемыхъ „горизонталокъ“, я пришелъ къ убѣжденію, что единственный предметъ французскаго экспорта, который всегда у насъ принимался съ распростертыми объятіями, это — кокотки. Кокотку всегда принимаютъ не иначе, какъ съ распростертыми объятіями, иначе нѣтъ смысла ее и принимать. Чрезвычайно, чортъ побери, заманчивая профессія! Но,—увы!—милостивые государи, за послѣднее время замѣчено, что французскіе предметы все болѣе и болѣе замѣняются нѣмецкими. Съ парижскими кокотками у насъ случилось то же, что и съ гаванскими сигарами! Ихъ вытѣсняютъ рижскія. Между тѣмъ, милостивые государи, какое же можетъ быть сравненіе между французской кокоткой и нѣмецкой? Я считаю излишнимъ даже говорить объ этомъ, потому что разница между ними достаточно опредѣлена въ моемъ опытѣ сравнительной кокотологіи, вышедшемъ подъ названіемъ „Въ Парижѣ“. Достаточно вамъ сказать, что нѣмки даже чулки носятъ только до колѣнъ. *(Разочарованное „Ну-у“ среди присутствующихъ.)* На ряду съ этимъ во Франціи замѣчается перепроизводство кокотокъ. Изъ моего из-

слѣдованія о Фуфу вамъ, милостивые государи, извѣстно, сколько порядочной кокоткѣ нужно въ мѣсяцъ. Увы, милостивые государи, Парижъ этимъ потребностямъ не удовлетворяетъ, и вотъ мы замѣчаемъ значительное движеніе этого рабочаго элемента изъ Парижа въ Монте-Карло. Изслѣдованію этого переселенческаго движенія мною посвященъ спеціальный фельетонъ въ одной изъ петербургскихъ газетъ, съ указаніемъ адресовъ, гдѣ можно найти страдающихъ отъ безработицы для тѣхъ добрыхъ людей, которые захотѣли бы сдѣлать доброе дѣло и доставить имъ занятіе. Нужда, господа, вопіющая! Достаточно вамъ сказать, что масса кокотокъ сидитъ въ Монте-Карло, не имѣя возможности даже уплатить по счетамъ и уѣхать. *(Возгласы: Сдѣлать подписку!)* Нѣтъ, господа, зачѣмъ подписка! Я врагъ всякихъ подписокъ. Доброе дѣло, по-моему, надо дѣлать скромно, одинъ на одинъ. Между этими кокотками, господа, царитъ настоящій голодъ. Я самъ, самъ видѣлъ многихъ, которыя по три, по четыре дня не ѣли устрицъ. Многія изъ нихъ не ужинаютъ! И мнѣ кажется, господа, что, установивъ правильный экспортъ французскихъ кокотокъ въ Россію, мы тѣмъ самымъ разрѣшимъ вопросъ объ ихъ безработицѣ во Франціи, и вмѣстѣ съ тѣмъ утолимъ кокоточный голодъ въ Россіи. Пора, пора, господа, дать русскому народу настоящую французскую кокотку, взамѣнъ того нѣмецкаго суррогата, который онъ получаетъ изъ Риги. Благодаря васъ за честь, которую вы сдѣлали мнѣ, избравъ меня въ предсѣдатели торговой палаты, я объявляю, что займусь, по примѣру прежнихъ лѣтъ, кокотками. Ура!

Впечатлѣніе потрясающее. На слѣдующій день К. А. Скальковскій былъ торжественно провозглашенъ докторомъ сравнительной кокотологіи и ресторанныхъ наукъ honoris causa, какъ сказано въ дипломѣ, „въ вознагражденіе литературныхъ заслугъ“.

Торжество происходило въ Café Américain, наверху. Хотѣли въ другомъ мѣстѣ, но тамъ тоже какое-то торжество происходило, — все было занято. Предсѣдательствовала mademoiselle Фуфу и сказала премилую рѣчь. Немножко странную, но вѣдь француженка многаго въ нашей русской жизни не понимаетъ.

— Ami et cher papaschka! — такъ начала она свою рѣчь. — Ваши труды въ области кокоткознанія у всѣхъ въ памяти и не нуждаются въ похвалахъ.

Вы принадлежите къ числу тѣхъ избранныхъ умовъ, которые могутъ заниматься нѣсколькими предметами единовременно. Такъ, будучи директоромъ *горнаго* департамента, вы, судя по вашимъ писаніямъ, болѣе занимались изученіемъ *острововъ*. Что касается вашихъ заслугъ въ области сравнительной кокотологіи, то достаточно сказать, что съ тѣхъ поръ, какъ вы были такъ добры и указали, въ какихъ именно ресторанахъ и въ какіе часы можно застать лучшихъ кокотокъ, — съ тѣхъ поръ число русскихъ посѣтителей тамъ значительно увеличилось. За что мы и выражаемъ вамъ признательность отъ своего имени и отъ имени этихъ ресторатороръ. Да! Ami et cher papaschka, какъ зовемъ мы васъ! Вы самоотверженно занимались своей публичной дѣятельностью, за что и потерпѣли гоненіе въ отечествѣ. Но утѣшьтесь. Вы не были дипломатомъ, вы не устраивали франко-русскаго альянса, но устроили такую массу франко-русскихъ альянсовъ, что и не снилось! Примите же отъ насъ въ воздаяніе литературныхъ заслугъ вашихъ, — honoris causa,—званіе доктора кокотологіи и присвоенную этому званію бутоньерку изъ разноцвѣтныхъ подвязокъ. Позвольте представить вамъ моихъ подругъ!

Тутъ началось дефилированіе. Сначала шли болѣе, такъ сказать, современныя особы, а потомъ двинулась „старая гвардія“. Представляясь, онѣ дѣлали правой ногой накараулъ,—и чрезвычайно удобно, не надо было

даже снимать цилиндръ, чтобы раскланиваться: онѣ сами сбивали цилиндръ съ головы ногой.

Вообще торжество было страшное. Не обошлось, конечно, и безъ непріятности.

Такъ, маленькая.

Когда мы выходили изъ кафэ, на насъ накинулась толпа проводниковъ, — знаешь, вотъ тѣхъ, что по place de l'Opéra шляются и къ прохожимъ иностранцамъ пристаютъ:

— Не желаете ли туда-то отправиться? Туда-то?

Кинулись—и прямо къ К. А. Скальковскому.

— Какъ,—кричатъ,—вамъ, ваше превосходительство, не стыдно? У бѣдныхъ людей хлѣбъ отбиваете! Раньше мы русскихъ господъ по разнымъ мѣстамъ водили, а теперь всѣ съ вашими фельетонами ходятъ: „сами, говорятъ, найдемъ!“ Нехорошо конкуренцію дѣлать!

Но мы, конечно, не обратили вниманія и пошли въ гору, на Монмартръ, — все-таки онъ бывшій директоръ горнаго департамента!

Такъ-то, душа Тряпичкинъ. Вотъ какія дѣла дѣлаемъ. Собираюсь для пользы отечества адресъ-календарь всѣхъ парижскихъ кокотокъ составить, съ указаніемъ, въ какихъ ресторанахъ бываютъ и prix-fix'ы.

И вообрази, русскіе-то, хороши, не понимаютъ. Встрѣтилъ тутъ одного, разсказалъ проектъ, — говоритъ:

— Что жъ вы такое? Международный „устроитель знакомства“ какой-то!

Я думаю, что онъ нигилистъ. Навѣрное, нигилистъ! Надо будетъ про него написать, что нигилистъ.

Твой другъ Jean de-Хлестаковъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Корреспондентъ отъ Maxim'a.

„Le beau et celèbre“ г. Скальковскій напечаталъ въ свойственной ему газетѣ корреспонденцію объ открытіи памятника Поль де-Коку.

Г. Скальковскій спѣшитъ давать матеріалы своему будущему біографу.

Съ очаровательной откровенностью артистки изъ „Альказара“ онъ обнаруживаетъ передъ публикой свои интимнѣйшія подробности.

Онъ разсказываетъ характерныя вещи.

Представьте себѣ, что когда г. Скальковскій былъ еще студентомъ, профессоръ, оказывается, кричалъ на него:

— Зарѣзалъ, разбойникъ!

Вонъ еще когда!..

Г. Скальковскій, по его словамъ, воспитанъ на Поль де-Кокѣ и счелъ долгомъ присутствовать на открытіи памятника писателю.

Это очень благородно съ его стороны.

Г. Скальковскій всегда былъ благороднымъ человѣкомъ и зналъ, что такое уваженіе къ мертвымъ.

Къ тому же и картина: „Скальковскій у памятника Поль де-Кока“—недурной жанръ.

Это стоитъ донъ-Карлоса у гробницы Карла Великаго.

Г. Скальковскій описываетъ очень трогательно открытіе памятника.

Но, къ сожалѣнію, пишетъ не все.

Одинъ мой парижскій пріятель описываетъ мнѣ то, о чемъ умолчалъ даже г. Скальковскій.

Финалъ торжества.

Рѣчи были сказаны, памятникъ открытъ. Присутствующіе ушли на банкетъ по 6 франковъ.

Г. Скальковскій остался у памятника одинъ.

Воскрешая въ душѣ своей пикантнѣйшія мѣста изъ романовъ Поль де-Кока.

Онъ любитъ поминать мертвыхъ.

Въ душѣ его воскресалъ „Le cocu“, всплывалъ „Le mauvais sujet“, проплывали „Магазинныя барышни“, „Молодая дѣвушка съ пятаго этажа“, „Дѣвочка, которую долго считали за мальчика“.

Такъ волновалась душа его.

Какъ вдругъ памятникъ зашевелился.

Бронза стала теплой, стала оживать, оживать.

Въ глазныхъ впадинахъ затеплились веселые и живые глаза.

Темный бронзовый загаръ сбѣжалъ со щекъ, онѣ стали блѣдными, слегка розовыми.

Губы раскрылись, грудь поднялась и вдохнула воздухъ.

Поль де-Кокъ оперся руками и съ трудомъ, немножко кряхтя, немножко охая, вышелъ изъ пьедестала.

Передъ изумленнымъ, испуганнымъ г. Скальковскимъ стоялъ Поль де-Кокъ, старикъ Поль де-Кокъ, съ огромными сѣдыми усами, въ высокихъ смятыхъ воротничкахъ.

Стоялъ и улыбался.

— Votre excellence!—сказалъ Поль де-Кокъ.

Г. Скальковскій пріосанился.

— Votre excellence, позвольте мнѣ поблагодарить за ту честь, которую вы мнѣ оказали, спеціально пріѣхавъ на открытіе моего памятника!—продолжалъ Поль де-Кокъ. — Именно съ вашей стороны меня особенно трогаетъ такая честь.

— Oh, cher maître, ради Бога,—смущенно пробормоталъ г. Скальковскій, — я всегда былъ вѣренъ вашимъ завѣтамъ.

Но Поль де-Кокъ остановилъ его мягкимъ движеніемъ руки.

— Мнѣ пріятно видѣть васъ, какъ отцу своего сына. Кто присутствовалъ на окрытіи моего памятника изъ тѣхъ, кого я воспѣвалъ? Припомните, кто были моими созданіями? Гризетка,—ихъ больше нѣтъ. Эта крошка, жившая на пятомъ этажѣ, которая требовала на ужинъ немножко хлѣба и сыра и много шутокъ и смѣха,—ея нѣтъ больше!

— Хорошія были времена! — вздохнулъ г. Скальковскій.

— Она не могла быть на моемъ торжествѣ. Она умерла! Мой любимый герой — скромный молодой человѣкъ, который не смѣетъ признаться въ любви и часами караулитъ на лѣстницѣ, пока пройдетъ хорошенькая сосѣдка, чтобъ взглянуть ей въ слѣдъ и вздохнуть,—его тоже нѣтъ. Скромный молодой человѣкъ умеръ. Какъ это ужасно писателю переживать смерть своихъ героевъ. Это значитъ умирать во второй разъ! Но не всѣ изъ моихъ созданій умерли! Не всѣ! Одинъ изъ моихъ любимѣйшихъ героевъ живъ.

И голосъ Поль де-Кока зазвучалъ громче и радостнѣй.

— Если вы припомните, кромѣ гризетки и робкаго юноши, — любимымъ типомъ, который я часто выводилъ, былъ старый порнографъ. Старый порнографъ, который не можетъ видѣть женской ножки безъ того, чтобъ мысленно не взбѣжать по ней, какъ тараканъ, который только и дѣлаетъ, что раздѣваетъ въ своихъ мысляхъ каждую встрѣчную женщину, и затѣмъ слюнявыми губами разсказываетъ всѣмъ и каждому о „подробностяхъ“, которыя онъ замѣтилъ или о которыхъ догадывается своимъ старческимъ воображеніемъ. О, excellence! Я читалъ то, что вы писали про актрисъ, про кокотокъ, про женщинъ вообще.

И Поль де-Кокъ мягкимъ движеніемъ руки остановилъ готовый вырваться у г. Скальковскаго потокъ благодарностей за лестное вниманіе.

— Этотъ старый порнографъ,—я любилъ его выводить на посмѣшище. Я ставилъ его въ позорнѣйшія положенія. Я издѣвался надъ нимъ. Онъ всегда у меня въ концѣ концовъ оказывался ничтожнымъ, жалкимъ, презрѣннымъ, противнымъ и гадкимъ. Excellence, позвольте мнѣ поблагодарить за то, что вы явились на открытіе моего памятника!

И, смахнувъ набѣжавшую на старые глаза слезу, Поль де-Кокъ, кряхтя и охая, взобрался на свой пьедесталъ и медленно вошелъ въ него.

Теплое живое тѣло похолодѣло, застыло, стало бронзовымъ.

Лицо замерло.

Какъ догорѣвшія лампады, погасли глаза

Черныя впадины смотрѣли сурово и мрачно.

А г. Скальковскій съ „Le cocu“ въ душѣ долго еще стоялъ передъ бюстомъ писателя, великаго и любимаго.

Стоялъ и сказалъ:

— Первой книгой, которую я прочелъ, была „Дѣвочка, которую долго считали за мальчика“. Я всю жизнь былъ тоже „дѣвочкой, которую принимали за мальчика“,—поль-де-коковскимъ героемъ, котораго долго принимали за государственнаго человѣка.

„Собственный корреспондентъ отъ Maxim'a“ повернулся и медленно пошелъ къ экипажу.

— Къ Maxim'у, идѣ же многіе Скальковскіе упокоиваются!

И сѣлъ тамъ за свободнымъ столикомъ писать корреспонденцію:

— Maxim. Такого-то сентября.

Живъ Курилка.

Умирая въ поѣздѣ отъ скуки, я стоялъ на одной изъ большихъ станцій, около „газетнаго буфета".

— Маркъ Твэнъ есть? Джерома тоже нѣтъ?!

Газетчикъ тономъ приказчика въ гастрономическомъ магазинѣ нахваливалъ мнѣ свой товаръ.

— Газеты есть самыя свѣжія. Послѣдней получки-съ. Дозволите отпустить?

— Да нѣтъ! Мнѣ такъ что-нибудь... посмѣшнѣй!

— *Гражданинъ* дозволите завернуть? *Гражданинъ* очень смѣшно читать-съ...

— Читалъ. Нѣтъ ли чего повонючѣе? Въ родѣ, знаете, лимбургскаго сыра. На любителя?

— Дозвольте въ такомъ случаѣ „Рѣчь" г. Окрейца вамъ отпустить? Никто не спрашиваетъ-съ. Любительскій товаръ-съ.

Окрейца?!

— Заверните мнѣ Окрейца! Заверните мнѣ Окрейца!

— Больше ничѣмъ служить не могу?

— Нѣтъ, ужъ послѣ Окрейца что же?

Окрейцъ!

Онъ живъ!

И цѣлая картина предстала передо мной.

Унылые коридоры полтавскаго окружнаго суда.

Я брожу въ ожиданіи, пока начнутъ выдавать билеты на дѣло Скитскихъ.

По унылымъ коридорамъ уныло бродитъ еще унылая фигура во фракѣ, съ какими-то упраздненными знаками отличія отдаленныхъ государствъ.

Его можно было бы принять и за престарѣлаго фокусника, если бъ не факельщицкій видъ.

Худой, костлявый.

Длинные грязнаго цвѣта волосы, длинная жидкая борода. Безконечное уныніе въ глазахъ, какъ у людей, занимающихся самой безрадостной на свѣтѣ профессіей. Мнѣ показалось даже, что одно плечо поношеннаго фрака особенно сильно вытерто.

„Это отъ постояннаго тасканія гробовъ съ покойниками!“ съ сочувствіемъ подумалъ я.

Въ разговорѣ съ приставомъ мнѣ пришлось упомянуть свою фамилію.

Престарѣлый факельщикъ шагнулъ ко мнѣ своими длинными тонкими ногами.

— Вы такой-то?

— Къ вашимъ услугамъ.

— Позвольте познакомиться. Я — Окрейцъ.

Да это былъ не только факельщикъ, но самъ покойникъ.

— Окрейцъ? Вы Окрейцъ?!

— Да, да. Я Окрейцъ.

— Окрейцъ?! „Инженеровъ слѣдуетъ вѣшать просто, концессіонеровъ слѣдуетъ вѣшать за ребро“.

Онъ смотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и слушалъ, какъ знакомый мотивъ.

— Изъ какой это оперы?

— Вы забыли? Это ваше! Ваше это! Изъ „Луча“.

Старый факельщикъ улыбнулся радостно. Вспомнилъ!

Онъ закивалъ головой.

— За ребро! За ребро! — повторялъ онъ тихо, съ безконечной нѣжностью.—Да, да, да!.. За ребро!

— Или вотъ это: „Всякаго предпринимателя слѣдуетъ сажать на колъ и держать такъ, пока колъ не пройдетъ сквозь самое горло и не подниметъ черепа!“

Онъ радостно кивалъ головой.

— Мое! Мое! Черепа не подниметъ! Черепа!

— Нѣтъ! Стиль-то, стиль! Не просто „черезъ горло“, а „черезъ самое горло“. Чрезвычайно стильно!

Старикъ былъ растроганъ.

— Вы, однако, учили мои произведенія наизусть?

— Запомнились, г. Окрейцъ! Врѣзались въ память! Я зачитывался вашими произведеніями, г. Окрейцъ! Да и какъ же иначе? Вы писали это въ 80-мъ году. А? Въ 80-мъ году XIX столѣтія, и вдругъ „за ребро“. Какъ не врѣзаться? Или вотъ это: „Такого-то присяжнаго повѣреннаго слѣдовало бы вымазать въ дегтю, вывалять въ пуху и гнать такъ дворниками по городу, пока не падетъ“. У васъ была изобрѣтательность, г. Окрейцъ! Вы были художникомъ, господинъ Окрейцъ! Вашъ совѣтъ относительно другого присяжнаго повѣреннаго: „Этого слѣдовало бы послѣ рѣчи просто выкинуть изъ кассаціоннаго департамента въ окно“. А? Присяжный повѣренный, летящій изъ Сената въ окно! Первоприсутствующій, который приказываетъ: „Сторожа, отворите окно и киньте туда присяжнаго повѣреннаго!“ Такія вещи не забываются, г. Окрейцъ.

Старикъ былъ тронутъ. Больше. Онъ былъ потрясенъ.

— Да! Писалъ въ свое время! Писалъ! А теперь... Пріѣхалъ на дѣло Скитскихъ отъ...

Онъ назвалъ одинъ изъ петербургскихъ органовъ.

— Нда! Газета, извините меня, дѣйствительно, довольно портерная.

— Да и не во всякой портерной еще получаютъ!—со вздохомъ махнулъ рукой престарый факельщикъ. — Захожу какъ-то освѣжиться. „Дайте мнѣ“...—„Извините, мы этой газеты не получаемъ-съ!“ И съ такою гордостью: „мы“!

— Съ такимъ-то талантомъ, какъ вашъ! Съ такой изобрѣтательностью! Съ такой фантазіей!

— Спроса на меня нѣтъ. А бывало! Писалъ! „За ребро“! Отлично помню: „за ребро“.

— Или „о пользѣ ввести колесованіе“?

— Да, да! И о пользѣ ввести колесованіе писалъ!

Мнѣ показалось, что у старика на глазахъ даже слезы умиленія.

Онъ чувствовалъ ко мнѣ нѣжность. Я разбудилъ самыя дорогія воспоминанія.

Онъ схватилъ мою руку. Онъ жалъ ее своей теплой-теплой рукой. Ему хотѣлось сказать мнѣ что-нибудь пріятное.

— А мы съ Пятковскимъ читали ваши сахалинскіе очерки.

— Съ кѣмъ?

— Съ Пятковскимъ, съ издателемъ *Наблюдателя*. Тоже спроса теперь нѣтъ! Тоже!.. Мы читали. Какой ужасъ! Эти наказанія, эти тюрьмы, это полное паденіе. И знаете, къ какому заключенію мы пришли съ Пятковскимъ?

— Интересно.

— Что смертная казнь необходима!

Я даже отскочилъ.

— Вотъ, знаете, никакъ не думалъ, чтобы мои очерки...

Но онъ снова поймалъ меня за руку.

— Вы это доказали! Вы это доказали!

— Послушайте! Мнѣ дѣлается страшно...

— Не пугайтесь! Не пугайтесь! Въ этомъ нѣтъ ничего страшнаго!

Онъ говорилъ тихо, нѣжно, словно уговаривалъ меня итти въ палачи или просто на висѣлицу.

— Никакихъ мукъ, никакихъ страданій. Никакого произвола надзирателей, никакого человѣческаго паде-

нія. Ничего. Разъ — и все кончено. Это чисто! Это опрятно прежде всего! И потомъ — дешево. Никакихъ расходовъ на тюрьмы, на одежду, на столъ.

— Но кого же, г. Окрейцъ? Но кого?

— Всѣхъ-съ! Обвиняется въ убійствѣ-съ, въ покушеніи на убійство, въ дѣланіи фальшивой монеты...

Онъ подумалъ съ секунду.

— По третьей кражѣ тоже можно-съ. Все равно онъ неисправимъ.

И этотъ „идеалистъ смертной казни“ съ такой нѣжностью говорилъ:

— „По третьей кражѣ“.

— И никакихъ ужасовъ каторги!

— Послушайте, г. Окрейцъ, а случаи судебной ошибки?

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ:

— Что жъ, что судебныя ошибки? Никакое правосудіе не можетъ обойтись безъ ошибокъ! Вы только подумайте: каково это невинному человѣку мучиться въ каторгѣ! А тутъ никакихъ мученій. Разъ — и готово!

— Ну, хорошо! Возьмемъ хоть вотъ это дѣло, ради котораго мы съ вами пріѣхали. Дѣло Скитскихъ. Если бъ ихъ, по вашему рецепту, взяли бы сразу и казнили...

— И превосходно-съ!

Старикъ даже подвизгнулъ отъ радости.

— И превосходно-съ! И никакого шума бы не было-съ! А то, что это, помилуйте! Шумъ на всю Россію! Газеты кричатъ! Корреспонденты скачутъ! Что это такое? А тамъ,— чирикъ, и все кончено. И они ничего больше не чувствуютъ.

— А родные, г. Окрейцъ? Ихъ родные?

— Что жъ, что родные?! Поплакали бы и успокоились. Вотъ и все. Все равно человѣку рано или поздно умирать нужно!

И этотъ старичокъ, на котораго „не было спроса“, съ нѣжностью улыбался, словно ужъ видѣлъ передъ собою „картину“.

И вдругъ теперь! Оказывается, онъ не только существуетъ! Онъ издаетъ журналъ!

— Только никто не спрашиваетъ-съ! — жалуется газетчикъ.

Пусть эти строки послужатъ рекламой для старичка.

Господа, поддержите помѣшаннаго старичка, страдающаго какимъ-то жестокимъ и кровавымъ бредомъ.

Тяжелая форма помѣшательства!

Господа, когда вы умираете отъ скуки, покупайте „Рѣчь“.

Баронъ Иксъ.

„... Но мечъ положите на мою
могилу. Я былъ смѣлымъ бойцомъ".
Гейне.

Въ „таинственномъ" домѣ, который въ Одессѣ окруженъ легендами, въ бывшей масонской ложѣ, въ странныхъ пяти-, осьмиугольныхъ комнатахъ, жилъ старый „баронъ".

Домъ и жилецъ подходили другъ къ другу.

И отъ того и отъ другого вѣяло романтизмомъ.

Поссорившись съ однимъ старымъ другомъ, „баронъ" разстрѣлялъ его портретъ изъ револьвера и послалъ записку:

— Ты для меня болѣе не существуешь. Я тебя убилъ.

— Журнализмъ, это—донъ-кихотство!—говорилъ мнѣ старый „баронъ".—Я 25 лѣтъ воевалъ съ невѣжествомъ, съ грубостью, съ глупостью. Главное — съ глупостью. Разскакавшись на своемъ Россинантѣ, вонзалъ со всего маха копье...

Онъ, иронически улыбаясь, кивнулъ на ручку съ перомъ:

— Въ крылья вѣтряныхъ мельницъ... Вѣтряныя мельницы вертятся попрежнему, — я, разбитый, лежу на землѣ съ выбитыми зубами. „Беззубый фельетонистъ". Я стараюсь утѣшить себя: „Приносилъ пользу". Развѣ это не тотъ же глупый, „волшебный" бальзамъ, который дѣлалъ для себя Донъ-Кихотъ! Раны отъ этого бальзама

не проходятъ. Да и самый „шлемъ“ журналиста? Кажется, я тазикъ цырюльника принималъ за рыцарскій шлемъ!

Кабинетъ „барона“ былъ уставленъ книгами.

Это были публицисты, критики, полемисты шестидесятыхъ годовъ. Его „рыцарская библіотека“.

Указывая на эти книги, онъ сказалъ:

— „И погромче насъ были витіи, да не сдѣлали пользы перомъ“... Когда я буду умирать и мнѣ скажутъ: „Баронъ Иксъ“,—я отвѣчу: „Барона Икса больше нѣтъ, я Герцо-Виноградскій добрый!“

Этому старику, съ рошфоровскимъ кокомъ, съ видомъ бреттера, въ старомодно повязанномъ большимъ бантомъ широкомъ галстукѣ, нравилось сравненіе съ Донъ-Кихотомъ.

— А сколько ошибокъ! Сколько донъ-кихотскихъ ошибокъ! Сколько жертвъ злыхъ волшебниковъ я вообразилъ себѣ, тогда какъ это были обыкновенные плуты и негодяи. Сколько копій сломалъ изъ-за нихъ, не подозрѣвая, какъ смѣшно мое донъ-кихотство! „Приносилъ пользу!“ Я воюю за служащихъ Камбье,— знаете, этихъ кондукторовъ, кучеровъ конно-желѣзной дороги. Ихъ эксплоатируетъ бельгійское анонимное общество, какъ умѣютъ эксплоатировать только бельгійцы! Они работаютъ 18 часовъ въ сутки. 18 часовъ на ногахъ, не присѣвши. По праздникамъ до 20 часовъ! Сотнямъ людей сокращаютъ жизнь. Я назвалъ ихъ „неграми господина Камбье“. Сравненіе такъ вѣрно, что иначе ихъ теперь и не зовутъ. А толкъ? Г. Камбье разыскиваетъ: кто могъ сообщить барону Иксу всѣ эти свѣдѣнія? И гонитъ заподозрѣнныхъ служащихъ! Вы помните мальчика-ремесленника, за котораго заступился Донъ-Кихотъ,— и котораго потомъ за это хозяинъ выдралъ еще сильнѣе? Да и „общество“, во имя котораго мы сражаемся! Это Дульцинея Тобозская, которую наша фантазія на-

граждаетъ красотой и всѣми совершенствами! Посмотрите на Одессу. О чемъ она думаетъ, о чемъ мечтаетъ? Развѣ это не грубая, безобразная крестьянка? Какое донъ-кихотство считать ее прекрасною, знатною дамой, которую только заколдовали злые волшебники и которую можно расколдовать! Въ довершеніе сходства съ „рыцаремъ печальнаго образа“ меня уже начинаютъ топтать бараны!..

„Баронъ“...

Звучное имя „Герцо-Виноградскій“ существовало только для участка, гдѣ онъ былъ прописанъ. Для всѣхъ остальныхъ онъ былъ:

— Баронъ Иксъ.

Къ нему обращались въ разговорахъ не иначе, какъ „баронъ“. Ему писали: „баронъ“.

Простой народъ, обращаясь къ нему съ жалобами, ища защиты, писалъ ему на конвертахъ:

— Его сіятельству барону Герцо-Виноградскому.

„Баронъ Иксъ“ былъ то, что называется „горячей головою“.

Пылкій, увлекающійся, — его жара не охладило даже путешествіе по Сибири.

Вернувшись изъ этого путешествія въ Одессу, онъ сразу сдѣлался кумиромъ всего юга.

Онъ писалъ смѣло, горячо, страстно. Ни съ чѣмъ не считаясь, кромѣ цензуры, да и съ ней считаясь плохо.

Не его вина, что часто истинно пушечные заряды ему приходилось тратить на воробьевъ.

Это былъ большой талантъ! Созданный вовсе не для провинціи. Работай онъ въ Парижѣ, — его имя гремѣло бы.

А въ провинціи... Въ Одессѣ... Гдѣ газета находится не подъ одной цензурой,—подъ десятью цензорами, гдѣ всякій надъ газетою цензоръ. Тутъ не разскачешься. Тутъ всякій Пегасъ скоро превратится въ Россинанта.

Это былъ блестящій журналистъ. Съ огромной эрудиціей. Съ хорошимъ, литературнымъ стилемъ. Съ настоящимъ, съ огненнымъ темпераментомъ журналиста.

Мы бесѣдовали съ нимъ какъ-то о журнализмѣ.

— Пренелѣпое занятіе! — смѣялся онъ.—Ко мнѣ сегодня приходилъ молодой человѣкъ. „Желаю быть журналистомъ“. — „Журналистомъ? Скажите, можете ли вы ненавидѣть человѣка, который вамъ ничего не сдѣлалъ, котораго вы никогда не видали, имя котораго раньше никогда не слыхали?“ Смотритъ, вытаращивъ глаза: „Какъ же такъ?“—„Ненавидѣть глубоко, искренно, всей своей душой, всѣмъ своимъ сердцемъ? Видѣть въ немъ своего злѣйшаго врага, только потому, что вамъ кажется, будто онъ врагъ общественнаго блага? Если да, вы можете быть журналистомъ. Настоящимъ журналистомъ“.

Самъ онъ былъ такимъ.

Онъ былъ „Іереміей“ Одессы.

Его „развратная Ниневія“, — „пшеничный городъ“, гдѣ все продается, и все покупается, гдѣ высшая похвала:

— Второй Эфрусси!

Гдѣ, когда хотятъ сказать, что человѣкъ „слишкомъ много о себѣ воображаетъ“,—говорятъ:

— Онъ думаетъ, что онъ Рафаловичъ!

Точно такъ же, какъ въ другихъ мѣстахъ говорятъ:

— Онъ думаетъ, что онъ геній!

— Онъ думаетъ, что онъ Богъ!

Въ жизни этой „Ниневіи“ облитыя желчью, написанныя огненнымъ стилемъ пророковъ статьи—„плачъ“ ея „Іереміи“,—играли большую роль.

Его фельетоны были набатомъ, который будилъ городъ, погруженный въ глубокую умственную и нравственную спячку.

Онъ поднималъ „высокіе вопросы“, указывалъ на высшіе интересы, одинъ только кричалъ о нравствен-

ности, о справедливости, когда кругомъ думали только о выгодѣ или убыткѣ.

На всемъ югѣ, для котораго Одесса является умственнымъ центромъ,—съ нетерпѣніемъ ждали фельетоновъ барона Икса.

Много интереса къ высокимъ задачамъ и высшаго порядка вопросамъ пробудилъ онъ, много молодыхъ сердецъ заставилъ биться сильнѣе.

Онъ обладалъ огромнымъ нравственнымъ авторитетомъ.

„Въ свое время", когда онъ былъ молодъ, силенъ, въ расцвѣтѣ таланта, вокругъ него группировалось все передовое интеллигентное общество Одессы.

Онъ былъ кумиромъ молодежи. И что самое главное—этотъ суровый человѣкъ былъ кумиромъ молодежи, не льстя ей.

На его юбилеѣ одинъ изъ ораторовъ, юристъ, сказалъ:

— Вы были оберъ-прокуроромъ въ судѣ общественнаго мнѣнія. Вашъ кружокъ—кассаціонной инстанціей. Много общественныхъ приговоровъ было отмѣнено, какъ несправедливые, по вашему протесту, нравственно-авторитетнымъ рѣшеніемъ вашего кружка.

Другой ораторъ, старый студентъ, привѣтствовалъ „стараго барона":

— Ваша связь съ Новороссійскимъ университетомъ не прерывалась въ теченіе 25 лѣтъ. Вы были сверхштатнымъ и экстра-ординарнымъ профессоромъ нашей almae matris. Болѣе вліятельнымъ, чѣмъ многіе изъ ординарныхъ и штатныхъ профессоровъ. Для молодежи вы занимали каѳедру „общественныхъ интересовъ". На вашихъ фельетонахъ граждански воспитывалось молодое поколѣніе.

Надо обладать колоссальнымъ талантомъ, чтобы при условіяхъ, въ какихъ стоитъ провинціальная пресса,

создать себѣ такой высокій авторитетъ, какимъ „въ свое время“ пользовался этотъ публицистъ.

„Его время“ длилось лѣтъ двадцать. Годъ войны считается за два. Годъ войны провинціальнаго журналиста можно считать за четыре. Та война, которую велъ „Баронъ Иксъ“, была безпрерывной севастопольской кампаніей, гдѣ считался за годъ мѣсяцъ.

Это было сверхъ человѣческихъ силъ.

Больной, съ разбитыми нервами, чтобъ поддержать себя, „баронъ“ прибѣгалъ къ морфію.

— Я ободралъ себѣ всю кожу, пробираясь черезъ глухую чащу, черезъ терновникъ, у меня всѣ нервы наружу. Мнѣ все больно! — жаловался старый „баронъ“.— Я живу, я пишу еще только благодаря морфію.

Быстро и ярко сгорѣлъ талантъ.

Тотъ „баронъ“, мой первый визитъ къ которому я описалъ въ началѣ фельетона, былъ уже „барономъ“ послѣднимъ журнальныхъ дней.

Онъ еще сражался, но каждый ударъ стоилъ больше ему, чѣмъ врагамъ. Онъ еще рубилъ своимъ старымъ, зазубреннымъ мечомъ, и раздавались стоны, но это были его стоны, а не стоны враговъ.

Въ это время „баронъ“ напоминалъ израненнаго, измятаго рыцаря на полѣ битвы.

Онъ лежитъ, онъ истекаетъ кровью.

А кругомъ еще жестокая сѣча. Стучатъ мечи о желѣзо щитовъ. Съ трескомъ ломаются копья. Звенятъ латы грудь съ грудью столкнувшихся бойцовъ.

И въ полуистекшемъ кровью рыцарѣ сильнѣе бьется сердце.

Онъ поднимается. Шатаясь, онъ выпрямляется во весь ростъ. Обѣими руками онъ заноситъ надъ головой тяжелый мечъ. Но въ изрубленныхъ, избитыхъ, измятыхъ рукахъ невыносимая боль, стонъ вырывается у рыцаря,

его мечъ „безсильно рубитъ воздухъ“, и со стономъ, съ проклятіемъ падаетъ раненый.

На его глазахъ въ первый разъ выступаютъ слезы. Тяжкія свинцовыя слезы,—слезы обиды, безсилія.

Тяжело было „Барону Иксу“ переживать самого себя.

Времена перемѣнились.

Газеты, гдѣ онъ такъ боролся съ „меркантильнымъ духомъ времени“, стали сами дѣломъ меркантильнымъ.

Газета изъ „дерзкаго дѣла“ превратилась въ цѣнность, въ акцію, на которой, какъ купоны, росли объявленія.

Издатель изъ пролетарія превратился въ собственника.

Онъ щелкалъ пальцемъ по четвертой страницѣ и самодовольно говорилъ:

— Вотъ они сотруднички-то! Гг. объявители! Печатаютъ въ газетѣ свои сочиненія и сами же платятъ! Гривенничекъ строчка-съ! Не отъ меня-съ, а мнѣ-съ!

На редакторскомъ креслѣ сидѣлъ господинъ изъ Петербурга, выхоленный, вылощенный, истинный петербуржецъ съ девизомъ:

— Мнѣ на все въ высокой степени наплевать!

Редакторъ съ брезгливой улыбкой кромсалъ этого „кипятящагося“ Икса:

— Все ужъ въ человѣкѣ выкипѣло. А онъ все еще кипятится! И чего такъ кипятиться? Это можетъ не понравиться.

Издатель морщился и, не стѣсняясь, въ глаза говорилъ:

— Беззубо-съ! „Стара стала“.

„Баронъ“, привыкшій къ успѣху, избалованный, стоналъ, жаловался:

— Меня топчутъ уже бараны. Санхо-Панчо обзавелся своимъ домкомъ, хозяйствомъ, а меня, разбитаго вѣтря-

ными мельницами, Донъ-Кихота изъ милости держитъ гдѣ-то на задворкахъ. И старается объ одномъ, чтобъ я не забылъ, что валяюсь на чужой соломѣ.

Эти послѣднія пять лѣтъ агоніи таланта были скорбнымъ путемъ. Истинной „Via dolorosa“. Дорогой тяжкихъ страданій.

Наступило 25-лѣтіе.

И „Ниневія“ чествовала своего „Іеремію“, плакавшаго надъ нею полными любви слезами и хохотавшаго полнымъ рыданій смѣхомъ.

„Дульцинея Тобозская“ оказалась „прекрасной благородною дамой“, которую старому Донъ-Кихоту удалось расколдовать отъ колдовства злыхъ волшебниковъ.

Никогда еще ни одинъ русскій журналистъ,—„просто журналистъ“, — не удостоивался такого общественнаго чествованія, какое было устроено Одессой старому „барону“.

Это было торжество не одесское, не „Барона Икса“,—это было торжество русской журналистики, русскаго публициста. „Только журналиста“, „всего на все фельетониста“ люди, представлявшіе собою цвѣтъ интеллигенціи, люди, убѣленные сѣдинами, называли „учителемъ“.

На чествованіи „Барона Икса“ были представители самоуправленія, суда, адвокатуры, профессуры, медицины, — все, что есть въ Одессѣ выдающагося и извѣстнаго.

Со всего юга летѣли телеграммы отъ „учениковъ“ старому „учителю“.

А вокругъ зданія, гдѣ происходило чествованіе, стояла несмѣтная толпа народа,—тѣхъ слабыхъ, которые, не находя нигдѣ защиты, привыкли грозить:

— Пожалуемся Барону Иксу!

Они кричали:

— Ура, Баронъ Иксъ!

Говоря потомъ о своемъ юбилеѣ, растроганный „Баронъ Иксъ“ говорилъ:

— Это были похороны „Барона Икса“. Мнѣ не хотѣлось бы, чтобъ его „останки“ валялись въ газетѣ. Но я—нищій. Я ничего не умѣю дѣлать,—только писать!

Одинъ изъ добрыхъ знакомыхъ „барона“ когда-то непримиримый его оппонентъ въ спорахъ, бывшій одесситъ, занимающій теперь очень высокій постъ,—выхлопоталъ старому писателю пенсію отъ академіи.

Долго колебался больной старикъ:

— Я не изъ тѣхъ, кому даютъ пенсіи!

Надо было много увѣщаній друзей:

— Это не подарокъ. Это—то, на что вы имѣете право!

Скрѣпя сердце, перешелъ ветеранъ въ инвалиды и принялъ пенсію.

Онъ сложилъ свое честное перо.

Донъ-Кихота больше ужъ не было, — былъ „донъ Алонзо добрый“.

Такъ пять лѣтъ тому назадъ умеръ „Баронъ Иксъ“.

На-дняхъ скончался и С. Т. Герцо-Виноградскій.

Свѣтлый умъ погасъ, благородное сердце биться перестало.

Товарищи, славный боецъ ушелъ, доблестный ветеранъ скончался.

Отдайте ему честь нашимъ святымъ оружіемъ, — перомъ.

Улыбка Вольтера.

„Съ тѣхъ поръ, какъ я о немъ узналъ, это дѣло занимаетъ всѣ мои мысли. Оно не даетъ мнѣ работать, оно отравляетъ мои удовольствія".

Вольтеръ, первое письмо о дѣлѣ Каласа.

Какъ-то, бродя въ антрактѣ по фойэ „Comedie Française" съ однимъ французомъ-журналистомъ, мы остановились около гудоновской статуи Вольтера.

Вы знаете эту статую? Вольтеръ, старый, сгорбленный, глубоко ушелъ въ кресло и смотритъ, улыбаясь.

— Улыбка сфинкса!— сказалъ французъ.—Этой зимой на одномъ изъ первыхъ представленій я гулялъ здѣсь съ Жюлемъ Леметромъ. Случайно взглядъ моего собесѣдника скользнулъ по статуѣ Гудона, и мнѣ показалось, что Леметру непріятно встрѣчаться со взглядомъ Вольтера.

— Вамъ не нравится этотъ Вольтеръ?— заинтересовался я.

— Онъ былъ слишкомъ уменъ и не могъ не презирать жизнь и людей. Но я не люблю читать этого презрѣнія!—отвѣчалъ Леметръ.—Сколько злобы въ этой улыбкѣ. Вотъ настоящій Мефистофель, издѣвающійся надъ міромъ!

— Съ тѣхъ поръ меня интересуетъ спрашивать людей:

— Какъ улыбается Вольтеръ?

— Эта мысль меня занимаетъ. Вскорѣ послѣ того я встрѣтился здѣсь же въ фойэ съ Анатолемъ Франсомъ. На мой вопросъ онъ улыбнулся доброй улыбкой и сказалъ:

— Развѣ вы не видите? Онъ улыбается улыбкой дѣдушки, который смотритъ на игры маленькихъ внучатъ! Они построили карточный домикъ и ставятъ на него оловянныхъ солдатиковъ. Дѣдушка не можетъ улыбаться иначе, какъ насмѣшливо. Сейчасъ домикъ развалится, и дѣти поднимутъ плачъ и начнутъ упрекать другъ друга: „Это ты виноватъ! Нѣтъ, это ты“. Но эта насмѣшка полна добродушія и любви.

На-дняхъ я встрѣтился здѣсь же съ Франсуа Коппе.

— Я ненавижу эту злую обезьяну!— отвѣчалъ онъ на мой вопросъ.—Когда я смотрю на этого Вольтера, мнѣ вспоминается его „Pucelle d'Orléans“. Онъ представляется мнѣ инквизиторомъ, старымъ сладострастнымъ старикомъ. Маркизомъ де-Садомъ! Мнѣ кажется, что при немъ обнажили Орлеанскую дѣвственницу, а онъ наслаждается ея позоромъ и стыдомъ. Эта облѣзлая, злая обезьяна мнѣ противна!

„Такими разными улыбками улыбается людямъ Вольтеръ, и, можетъ-быть, можно сказать:

„— Скажи, какъ тебѣ улыбается гудоновскій Вольтеръ, и я скажу тебѣ, кто ты“.

— Вамъ никогда не приходилось бесѣдовать на эту тему съ Золя?

— Къ сожалѣнію, нѣтъ.

Вольтеръ и дѣло Каласа мнѣ вспомнилось вчера, когда я читалъ бесѣду съ Н. П. Карабчевскимъ о Мультанскомъ дѣлѣ:

— ... Короленко не могло оторвать отъ дѣла извѣстіе о тяжелой болѣзни его горячо любимой малолѣтней дочери... Онъ забылъ также горячо любимую литературу и въ продолженіе года не могъ написать ни одной строчки...

И мнѣ вспомнились Вольтеръ и дѣло гугенота Каласа, сужденнаго и осужденнаго, приговореннаго и казненнаго за мнимое убійство сына изъ религіознаго фанатизма.

Едва Вольтеръ узналъ, что невѣжество и нетерпимость принесли человѣческую жертву:

— „Это дѣло не даетъ мнѣ работать, оно отравляетъ мнѣ удовольствіе!“—жалуется старикъ.

И онъ могъ вернуться къ работѣ и снова сталъ находить въ жизни радости только тогда, когда послѣ героической борьбы съ его стороны невѣжество и нетерпимость были посрамлены величайшимъ посрамленіемъ, какое существуетъ для невѣжества и нетерпимости, — были раскрыты, а несчастный казненный Каласъ изъ фанатика,—за что онъ былъ сужденъ, осужденъ, приговоренъ и казненъ,— превратился въ то, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности,—въ жертву фанатизма.

Я, конечно, не хочу назвать В. Г. Короленко Вольтеромъ, вторымъ Вольтеромъ или нашимъ Вольтеромъ.

Я не сравниваю ихъ. Я сравниваю только ихъ любовь къ истинѣ и къ справедливости.

Вольтеръ... Золя... Короленко...

Они разнаго роста, но они одной и то же расы.

Они изъ одного и того же тѣста, потому что поднимаются отъ однѣхъ и тѣхъ же дрождей.

Я не знаю, украшаетъ ли кабинетъ В. Г. Короленко статуэтка гудоновскаго Вольтера, какъ она украшаетъ кабинетъ его друга Н. К. Михайловскаго.

Но если да, я думаю, что Больтеръ улыбается ему той же улыбкой, какой улыбался Эмилю Золя.

Симеонъ, не дожившій до Срѣтенія.

(Памяти Данилы Лукича Мордовцева).

Говорятъ, что больше всего умираетъ людей въ предразсвѣтный часъ.

Въ этотъ тяжелый, томительный часъ.

Когда ночь кажется безконечной.

На востокѣ какъ будто потянулись бѣловатыя полоски.

Дѣйствительно ли близокъ разсвѣтъ?

Или это обманъ среди непроглядной тьмы, галлюцинація глаза, истосковавшагося по свѣтѣ?

Съ полей прибѣгаетъ вѣтерокъ. Отъ его холода вѣетъ землей.

Предразсвѣтный вѣтерокъ.

А больному, умирающему кажется, что на него дышитъ холодомъ и разрытой землею могилы.

Тяжелъ предразсвѣтный часъ.

Полоса на востокѣ все бѣлѣе, бѣлѣе.

Заря заиграетъ пурпуромъ, золотомъ, розовыми, алыми пятнами, брызнутъ лучи и, словно плача отъ радости, брильянтами росы загорится трава.

И только онъ будетъ лежать, недвижимый, блѣдный, восковой. Задушенный уходившей ночью.

Словно злой, безсильный, низкій врагъ. Побѣжденный. Бѣгущій. И убѣгая, добивающій больныхъ, раненыхъ, слабыхъ и безпомощныхъ.

Задушила и ушла.

Въ тяжелый, предразсвѣтный часъ умерло много больныхъ русскихъ людей, истосковавшихся по свѣту.

Михайловскій... Чеховъ...

Въ предразсвѣтный часъ, въ Кисловодскѣ, почти воздухѣ Украйны, гдѣ въ теплой, лѣтней, влажной, бархатной тьмѣ задумчивыхъ ночей шепчутся пирамидальные тополи,—окончилъ свою праведную жизнь Данила Лукичъ Мордовцевъ.

Онъ давно уже принадлежалъ историкамъ литературы.

Мордовцева-бойца знали наши отцы.

Мы застали его ветераномъ, добрымъ старымъ дѣдомъ, тихо и буколически доживавшимъ свой вѣкъ въ литературѣ.

Милая, славная фигура, вызывавшая добродушную улыбку.

Старый Аѳанасій Ивановичъ, оторванный отъ родной Украйны и принужденный проживать въ столичномъ городѣ Санктъ-Петербургѣ.

Старику холодно на Ингерманландскомъ болотѣ, онъ кутается въ бекешу,—въ бекешу изъ настоящихъ полтавскихъ смушекъ!—и мечтаетъ:

— А тамъ вишневые садочки. Тополи. Пѣсня слышится. Старая, дѣдовская, запорожская. „Гой вы, казаченьки“. Дивчины въ вѣнкахъ изъ цвѣтовъ съ поля идутъ. Парубки лихо поютъ. Хозяйка кулешъ варить, паръ отъ него валитъ. Хорошо.

Такой образъ, милый, кроткій, добродушный, слегка забавный, безъ обиды для него, — рисовался мнѣ, какъ всему нашему поколѣнію при словахъ:

— Дідъ Мордовцевъ.

Пока я не увидалъ настоящаго, реальнаго Данилы Лукича Мордовцева.

Это было въ Петербургѣ, на памятномъ первомъ представленіи „Контрабандистовъ“.

Предупредивъ обо всемъ полицію, г. Суворинъ трусливо бѣжалъ въ Москву.

Умывалъ въ это время руки въ „Славянскомъ Базарѣ".

— Я ни при чемъ-съ... Помилуйте-съ... это безъ меня-съ...

Его лакеи, наглые, какъ могутъ быть наглы лакеи, чувствующіе себя безнаказанными, спрятавшись за спины полиціи, травили:

— Жарь! Играй! Лупи!

По сценѣ ходили актеры и,—словъ не было слышно за ревомъ урагана въ залѣ,—кривлялись и строили рожи публикѣ.

Они напоминали глупыхъ и скверныхъ мальчишекъ и дѣвчонокъ, которые въ звѣринцѣ кривляются передъ клѣткой и дразнятъ звѣря, зная, что онъ за рѣшеткой и ихъ не можетъ тронуть.

Въ театрѣ стоялъ ураганъ.

Ураганъ общественнаго негодованія.

Заблаговременно призванная суворинскими лакеями полиція приступила къ „водворенію порядка".

Раздались вопли юношей, дѣвушекъ.

Взрослые люди, мужчины, падали въ партерѣ въ обморокъ при видѣ того, что творилось въ ложахъ.

Тогда старикъ Мордовцевъ пошелъ за кулисы.

Говорить. Усовѣщивать суворинскихъ лакеевъ.

Результатъ получился, какого надо ждать отъ разговора съ наглыми лакеями.

Мордовцевъ со слезами умолялъ ихъ:

— Пожалѣйте молодежь. Прекратите ваши безобразія!

Лакеи, спрятавшись за широкія полицейскія спины, нагличали и поглумились надъ плачущимъ старикомъ:

— Не ввязывайтесь! Вы кто такой здѣсь будете? Дѣло полицейское! Полиція докажетъ, какъ скандальничать! Всѣхъ скрутимъ! Проваливайте!

Я увидѣлъ въ первый разъ въ жизни Мордовцева, когда онъ выходилъ изъ-за кулисъ этого учрежденія, послѣ разговора съ лакеями, сучившими кулаки.

Старикъ дрожалъ и весь трясся отъ рыданій.

По его морщинистымъ щекамъ градомъ текли слезы.

Въ эту минуту онъ напоминалъ скорѣе короля Лира.

Поруганнаго, обиженнаго, раненаго въ сердце, безсильнаго и плачущаго старческими, горькими, безсильными слезами.

Лира, надъ которымъ надругался дворецкій Гонерилья.

Вопли избиваемой въ ложѣ дѣвушки и слезы старика.

Такова участь молодости и старости въ этой странѣ.

И съ этихъ поръ образъ „скорѣй короля Лира“ заслонилъ въ моемъ воображеніи образъ „Аѳанасія Ивановича“.

И съ этихъ поръ при имени Мордовцева мнѣ представлялась не буколическая фигура старика въ бекешѣ изъ настоящихъ полтавскихъ смушекъ, а трагическая фигура рыдающаго старика.

Человѣкъ слова, онъ раздѣлялъ участь всѣхъ русскихъ людей:

— Молчать.

Черепъ русскаго человѣка — тюрьма, гдѣ томятся, чахнутъ и умираютъ его истинныя мысли.

Безъ надежды увидѣть свѣтъ.

И только у насъ возможны такія недоразумѣнія.

Короля Лира считаютъ благодушествующимъ Аѳанасіемъ Ивановичемъ.

Потому что Лиръ молчитъ.

Человѣкъ живетъ среди насъ, и мы не знаемъ его.

Кинулъ ли онъ слово ненависти тѣмъ, кого онъ ненавидѣлъ всей своей изстрадавшейся старой душой?

Могъ ли онъ кинуть открыто слово привѣта тѣмъ, кого любилъ и кому въ душѣ посылалъ свое старческое благословеніе?

И всѣ мы умираемъ въ одиночествѣ.

Не подавъ истиннаго голоса ни друзьямъ ни врагамъ.

Словно отгороженные другъ отъ друга непроницаемыми стѣнами тюремныхъ казематовъ.

Въ одиночномъ заключеніи со своими мыслями, со своими чувствами.

Такъ истосковавшись по свѣту, по солнцу, по днѣ,— онъ умеръ въ самый предразсвѣтный часъ.

Не вымолвивъ:

— Нынѣ отпущаеши...

Какъ Симеонъ, не дожившій до Срѣтенія.

Самый тяжелый гробъ—гробъ русскаго человѣка.

Словно свинцомъ налита его грудь. Она полна невыплаканныхъ слезъ.

О Вересаевѣ.

„Wozu denn Lärm?“
Первая фраза Мефистофеля.

Докторъ Приклонскій кончилъ свой докладъ противъ Вересаева, — и предсѣдатель объявилъ:

— Желающіе возражать — благоволятъ записаться.

Немедленно записалось 16 врачей.

— Объявляю перерывъ на 10 минутъ.

Вѣроятно, для того, чтобы докторъ Приклонскій могъ проститься съ близкими.

Перерывъ кончился, г. Приклонскій поднялся на подмостки и покорно сѣлъ за столъ, покрытый сукномъ цвѣта крови, — около него за зловѣщимъ пюпитромъ, въ декадентскомъ стилѣ, сталъ первый возражатель.

— Вамъ будетъ такъ удобно? — спросилъ его предсѣдатель съ любезной улыбкой великаго инквизитора.

— Покорнѣйше благодарю! Мнѣ будетъ такъ очень удобно! — сказалъ первый возражатель, со вкусомъ смотря на доктора Приклонскаго.

Аудиторія затаила дыханіе.

И началось.

Мнѣ вспомнилась сцена изъ „Тараса Бульбы“.

На помостѣ сидѣлъ г. Приклонскій и около него стоялъ оппонентъ.

А передъ помостомъ чернѣло море головъ. И молодой шляхтичъ въ толпѣ объяснялъ сидѣвшей рядомъ съ нимъ хорошенькой панянкѣ:

— Вотъ видите, дорогая Юзя, тотъ, который сидитъ, это и есть преступникъ. А тотъ, что стоитъ около за декадентскимъ столомъ, будетъ его казнить.

— Что же онъ сдѣлалъ такое? — кокетливо спрашивала хорошенькая Юзя.

— А сдѣлалъ онъ, душенька Юзя, то, что обругалъ Вересаева. И за это его будутъ казнить. По перемѣнкамъ казнить будутъ, красавица Юзя. Одинъ устанетъ, другой казнить начнетъ. Сначала ему отрубятъ руки, и онъ будетъ очень кричать. Потомъ ему отрубятъ ноги, и тогда онъ тоже будетъ очень кричать. А, наконецъ, и совсѣмъ отрубятъ голову. Тогда ужъ онъ больше кричать не будетъ!

И море головъ волновалось въ ожиданіи интереснаго зрѣлища.

На помостъ одинъ за другимъ всходили врачи пожилые, юноши, люди съ именами, неизвѣстные, пріѣзжіе, здѣшніе — и рубили доктору Приклонскому руки и ноги.

И при каждомъ удачномъ и сильномъ ударѣ публика разражалась громомъ аплодисментовъ.

Поощряя:

— Еще его! Bis!

Какой-то молодой человѣкъ такъ разгорячился, что вскочилъ и протестовалъ:

— Зачѣмъ докторъ Приклонскій возражаетъ каждому оппоненту въ отдѣльности? Пусть слушаетъ не возражая!

Но докторъ Приклонскій, который очень кричалъ, когда ему отрубали руку или ногу, заявилъ, что онъ хочетъ кричать послѣ каждаго удара.

И пока шла эта безконечная экзекуція, мнѣ казалось, что у доктора Приклонскаго вотъ-вотъ вырвется тяжкій вздохъ и пронесется съ помоста надъ затихнувшей толпой:

— Батько Гиппократъ, слышишь ли ты меня?

Изъ толпы раздастся голосъ стараго, убѣленнаго сѣдинами практикующаго врача, который отвѣтитъ за Гиппократа:

— Слышу, мой сынку, слышу!

И вздрогнетъ толпа.

А казнь продолжалась.

Когда доктору Приклонскому отрубили руки и ноги, поднялся г. Ермиловъ, журналистъ, съ явнымъ намѣреніемъ „и совсѣмъ отрубить голову“.

Онъ размахнулся:

— Вы? Вы критикъ? Вы докторъ? Вы... вы... вы фельетонистъ!

Простонародье ругается „химиками“.

Журналистъ г. Ермиловъ ругается „фельетонистомъ“.

По мнѣнію г. Ермилова, вѣроятно, это должно убивать на-смерть.

Но ударъ попалъ плохо.

Докторъ Приклонскій поднялся съ полуотрубленной головой и крикнулъ г. Ермилову:

— Сами вы фельетонистъ!

А въ глазахъ его читалось:

— Прописалъ бы я тебѣ чего-нибудь какъ слѣдуетъ! Да „карманная книжка для врачей“, гдѣ таксирована дозировка, не дозволяетъ!

Два россійскихъ интеллигента заспорили о матеріяхъ важныхъ.

Дошли до ража.

А мимо проходила кошка.

— У-у, проклятущая! — сказалъ одинъ, потому что былъ взволнованъ, и запалилъ въ нее камнемъ.

— Въ бокъ! И въ кошку-то попасть не умѣешь какъ слѣдуетъ!

И запалилъ самъ:

— Въ ногу!

На томъ споръ и кончился.

Высокіе вопросы остались неразрѣшенными, а ни въ чемъ неповинная кошка оказалась съ переломленной ногой.

Этимъ часто кончаются русскіе споры о возвышенныхъ предметахъ.

Изругавши фельетонистами, спорящіе разошлись.

Докторъ Приклонскій съ полуотрубленной головой.

Г. Ермиловъ съ недоумѣвающимъ видомъ:

— Думалъ другому усѣчь голову, — самому усѣкли!

Казнь кончилась.

Я сидѣлъ во время нея въ уголкѣ, и одна фраза не шла у меня изъ головы.

Первая фраза, съ которой обращается къ Фаусту Мефистофель:

— Къ чему весь шумъ?

На свѣтѣ всегда были Вагнеры и всегда были Фаусты.

Спокойные и безмятежные Вагнеры и вѣчные мученики Фаусты.

Вагнеры, довольные собой, своей наукой и судьбой. И безпокойные Фаусты, вѣчно недовольные, вѣчно стремящіеся, вѣчно мучащіеся, вѣчно живущіе между надеждой и отчаяніемъ.

И Мефистофель, духъ сомнѣнья, „частицы силы той, которая, стремясь ко злу, творитъ одно добро“, — этотъ демонъ съ глазами, впалыми и пронизывающими, съ изстрадавшимся лицомъ, съ отравленной и отравляющей улыбкой на тонкихъ губахъ, — является только Фаусту.

У Вагнера Мефистофель удавился бы съ тоски.

У Вагнера Мефистофелю дѣлать нечего.

Вагнеръ говоритъ:

— Я знаю, что на свѣтѣ есть болѣзни. Но на свѣтѣ есть и „Обиходная рецептура“. Все устроено премудро.

Есть страданіе, но есть и книги. Я вѣрю въ салициловый натръ. А другая моя вѣра — хининъ. Когда я пріі-

ѣзжаю къ больному и вижу симптомы лихорадочнаго состоянія, я даю ему хинина или салициловаго натра.

И если Мефистофель посмѣетъ что-нибудь сказать,— Вагнеръ вынетъ „карманную книжку для врачей“, гдѣ въ этихъ случаяхъ показанъ салициловый натръ.

— А достаточно ли ты знаешь?—шепчетъ Мефистофель.

Фаустъ ищетъ отвѣта въ собственномъ сердцѣ, Вагнеръ въ карманѣ.

Фаустъ въ ужасѣ хватается за голову:

— Я видѣлъ только пятнадцать больныхъ! Это называется учиться?!

Вагнеръ спокойно развертываетъ дипломъ:

— Вотъ. Какъ же не имѣю права лѣчить? Посѣщалъ клиники исправно, соотвѣтственно указаніямъ профессора. Есть экзамены. Есть государственная комиссія. Если ужъ государственная комиссія сказала: „можешь лѣчить!“—какъ же я не имѣю права лѣчить?

И ротъ сомнѣнію заклеивается казенной печатью. Чтобъ не шептало.

У Фауста есть Маргарита.

Это та дѣвочка, о которой разсказываетъ Вересаевъ.

Она задыхалась въ дифтеритѣ, онъ сдѣлалъ ей операцію,—освободилъ дыханіе, и дѣвочка, улыбаясь, прошептала ему счастливымъ дѣтскимъ голоскомъ:

— Спасибо!

Онъ не могъ заснуть.

Онъ все видѣлъ передъ собой ребенка, и ему звучалъ милый дѣтскій голосокъ:

— Спасибо!

Этотъ чистый, какъ Гретхенъ, образъ грѣетъ его душу.

Но неудачныя операціи...

Сомнѣнія тысячами набѣгаютъ на его душу.

И Мефистофель, пользуясь минутой, шепчетъ:

— А не кажется ли тебѣ, что медицина идетъ по трупамъ? И учится на живыхъ и страдающихъ людяхъ?

И меркнетъ грѣющій душу своей улыбкой милый образъ дѣвочки, которая спасена отъ задушенія. Блѣдностью покрывается ея лицо. Ужасъ и слезы въ свѣтившихся радостью глазахъ.

— А сколько дѣтей погибло, — шепчетъ съ ужасомъ ея голосъ, — прежде чѣмъ выучились на нихъ дѣлать операціи, въ которой меня спасли?

И Фаустъ въ ужасѣ, отчаяніи.

— Да! Да! Это шествіе по трупамъ!

Тогда какъ Вагнеръ спокойно сказалъ бы маленькой дѣвочкѣ:

— То, что ты говоришь, мое дитя, очень глупо. И безъ операціи тѣ дѣти все равно бы померли. Почему же не сдѣлать операціи?

— Давай, Фаустъ, пересчитаемъ твои ошибки!—говоритъ Мефистофель въ безсонную ночь.

И предъ Фаустомъ появляется страшный призракъ.

Призракъ профессора Коломнина, который приговорилъ себя къ смерти, потому что его ошибка стоила жизни другому человѣку.

Фаустъ въ ужасѣ ночью бѣжитъ къ Вагнеру:

— Проснитесь! Проснитесь! Неужели вы можете спать всегда спокойно? Мнѣ мерещатся страшные призраки! Я видѣлъ Коломнина!

— А! Помню этотъ непріятный анекдотъ! Врачъ не пережилъ больного. Онъ поступилъ неправильно. Ему слѣдовало написать о случаѣ въ журналѣ. Конечно, въ спеціальномъ!

— Вагнеръ! Вагнеръ! Я схожу съ ума отъ ужаса! Вагнеръ, вѣдь я вѣрю въ нашу науку! Въ ея будущее! Но будущее! Будущее! А сейчасъ, при теперешнемъ состояніи науки, не приносимъ ли массу вреда тамъ, куда насъ призываютъ на помощь? Какое право...

— Читайте же чаще вашъ дипломъ, докторъ Фаустъ. Это помогаетъ. Напишите, пожалуй, о вашихъ кошмарахъ въ медицинскомъ журналѣ, — будетъ интересная статья. А главное, кладите ночью подъ подушку „карманную книжку для врачей". Это отгоняетъ бѣсовъ сомнѣнія. Ну, примите, пожалуй, kali bromati, чтобъ окончательно быть правымъ передъ фармакопеей!

Фаусты спятъ плохо. Вагнеры спятъ всегда отлично, потому что у нихъ есть дипломъ на право спать спокойно.

И они знаютъ, что лучшее средство противъ Мефистофеля—бромистый калій.

Но въ эти мучительныя ночи, въ которыя не спятъ Фаусты,—и двигается человѣчество впередъ и впередъ по пути умственнаго и нравственнаго совершенствованія.

Въ эти безсонныя ночи, полныя сомнѣній, и завоевано все-все: успѣхи правды, знанія, морали.

Міръ движется ночью, безсонною ночью, полный грезъ о будущемъ, кошмаровъ настоящаго.

И, право, ужасно жаль этихъ бѣдныхъ Вагнеровъ, которыхъ казнятъ, когда они жалуются, что Фаусты мѣшаютъ спать своимъ бредомъ.

Казнятъ безжалостно, казнятъ ужасно.

Говорятъ: Вересаевъ подвергся нападкамъ. Неправда!

Нападкамъ, общественной казни подвергаются тѣ, кто нападаетъ на Вересаева.

По 16 человѣкъ выходятъ одинъ за другимъ и казнятъ, казнятъ такого человѣка безъ конца.

А общество требуетъ:

— Еще! Еще! Еще!

За что?

Гдѣ справедливость?

Вы казните Вагнера за то, что онъ не Фаустъ?

Эта казнь милаго, аккуратнаго, добросовѣстнаго Вагнера только за то, что онъ не Фаустъ, производила бы совсѣмъ тяжкое впечатлѣніе, если бы не ея гомерическіе размѣры.

На одного Вагнера 16 Фаустовъ.

16 Фаустовъ, которые говорятъ, что, прочитавъ эти „Записки доктора Фауста“, они узнали того же Мефистофеля, который приходилъ и къ нимъ.

Остается благодарить Небо, что такъ много Фауста въ душѣ русскаго врача, и такъ слабо откликается въ ней голосъ Вагнера.

Репортеръ.

Я никогда въ жизни не видалъ такой визитной карточки.

— „Иксъ Игрекъ Дзетъ. Репортеръ газеты такой-то“

Всегда:

„Корреспондентъ газеты такой-то“.

„Хроникеръ газеты такой-то“.

Иногда даже:

„Интервьюеръ“.

Въ крайнемъ случаѣ, просто:

„Сотрудникъ“.

И никогда:

— Репортеръ.

Я даже не знаю, существуетъ ли въ русскомъ разговорномъ языкѣ слово „репортеръ“. Есть слово „репортеришка“.

Чаще всего съ прибавленіемъ слова „всякій“.

— Всякій репортеришка,—и туда же смѣетъ писать!

Это слово ругательное, и разсерженный обыватель если хочетъ выругать обидѣвшаго его журналиста, дѣлаетъ презрительную гримасу и говоритъ:

— Репортеришка!

Не мудрено, что и сами гг. репортеры стараются избѣгать своего званія:

— Вы ужъ напишите пожалуйста въ редакціонномъ удостовѣреніи „корреспондентъ“, а не „репортеръ“.

— Почему же?

— „Репортеръ“—это очень плохо звучитъ.

Если вы видите въ афишѣ новой пьесы въ числѣ дѣйствующихъ лицъ репортера, — заранѣе можете быть увѣрены, что это непремѣнно шантажистъ, мошенникъ, человѣкъ, готовый за грошъ „на все“.

Какой драматическій „левъ“ не лягнулъ своимъ копытомъ „репортера?“

Если вы встрѣчаете репортера въ повѣсти, романѣ, разсказѣ,—можете быть спокойны, что это лицо въ лучшемъ случаѣ только комическое, въ худшемъ — самое презрѣнное.

Онъ залѣзаетъ подъ столъ, чтобъ подслушать чужіе разговоры и беретъ пять рублей, чтобъ не разглашать семейныхъ тайнъ.

Какой изъ „орловъ“, державшихъ въ своемъ копытѣ когда-либо перо беллетриста, не „живописалъ“ такъ бѣднягу репортера?

„Репортеръ“, это—слово, мало отличающееся, по общему мнѣнію, отъ слова „клеветникъ“.

И всякій по этому случаю считаетъ возможнымъ и удобнымъ клеветать на репортера.

Разъ человѣкъ клеветникъ, отчего же на него не клеветать?

Откуда, однако, взялась эта клевета, ставшая „общимъ мнѣніемъ?“

Несомнѣнно, это „общее мнѣніе“ имѣетъ свою историческую подкладку.

Старые газетные работники помнятъ еще именно такихъ „репортеровъ“, какихъ до сихъ поръ выводятъ гг. драматурги и описываютъ гг. беллетристы.

Грязныхъ, нечесаныхъ, немытыхъ, которыхъ даже въ редакціяхъ не пускали дальше передней.

Они подслушивали разговоры, сидя подъ столомъ, потому что ихъ никуда не пускали, и ихъ никуда нельзя было пустить.

Это былъ безграмотный народъ, писавшій „еще“ съ четырьмя ошибками и которыхъ мазали за ихъ „художества“ горчицей.

Хорошенькія времена! Одинаково хороши были всѣ: и тѣ, кто доводилъ себя до мазанья горчицей, да и тѣ, кто находилъ въ этомъ удовольствіе и „нравственное удовлетвореніе“.

Но кто и теперь не говоритъ при видѣ идущаго репортера:

— Вонъ репортеришка бѣжитъ!

И кому какое дѣло, что онъ бѣжитъ въ сущности по общественному дѣлу!

Процессомъ „Владиміра“ интересовалась вся Россія.

Изо всѣхъ рефератовъ, печатавшихся въ одесскихъ газетахъ, лучшимъ былъ рефератъ покойнаго В. О. Клепацкаго.

Этотъ рефератъ почти дословно перепечатывался чуть не всѣми русскими газетами.

По крайней мѣрѣ, большинствомъ.

Когда драматургъ пишетъ пьесу,—онъ получаетъ гонораръ со всякаго театра, гдѣ она ставится.

Ели бы у насъ относились съ большимъ уваженіемъ къ собственности, и перепечатки чужихъ произведеній оплачивалась бы точно такъ же, какъ оплачивается постановка драматическихъ произведеній на сценѣ,—В. О. Клепацкій получилъ бы за свой трудъ, прекрасный, добросовѣстный, обратившій на себя вниманіе всей русской печати,—тысячи.

А онъ работалъ на всю русскую печать, получая только свой обычный, скромный гонораръ изъ редакціи своей газеты.

Ежедневно свѣдѣнія, добываемыя репортерами, перепечатываются десятками, иногда сотнями газетъ.

Если бы репортеры получили вознагражденіе отъ всѣхъ газетъ, которыя пользуются ихъ трудомъ, — видъ

„бѣгающаго репортеришки“ прошелъ бы въ область преданій.

Пусть это вознагражденіе со стороны каждой газеты было бы очень мало, — пропорціонально достаткамъ каждой газеты, — въ общемъ это составило бы солидную сумму и подняло бы благосостояніе этихъ бѣднягъ, получающихъ гроши за свѣдѣнія, интересующія всю Россію.

Если хотите составить себѣ понятіе объ отношеніи, которое составляетъ интересъ, возбуждаемый часто репортерскими замѣтками, и гонораромъ, который получаютъ авторы за эти сообщенія,—я сообщу вамъ фактъ изъ собственной практики.

Лѣтъ 15 тому назадъ, когда я былъ репортеромъ, мнѣ удалось добыть одно свѣдѣніе, очень сенсаціонное, которое я, со свойственной репортерамъ краткостью, изложилъ въ 7 строкахъ.

Эти семь строкъ обошли рѣшительно всѣ русскія газеты.

Такъ какъ свѣдѣніе, сообщенное въ нихъ имѣло большой общественный интересъ, то оно вызвало рядъ фельетоновъ, передовыхъ статей во всѣхъ большихъ столичныхъ газетахъ.

Возникла даже полемика.

А я могъ внимать всему поднятому мною шуму, пересчитывая 21 (двадцать одну) копейку, полученную мною за мои 7 строкъ!

Въ особенности, стоя близко къ газетному дѣлу, становится обидно и больно: какъ мало и матеріальнаго и нравственнаго вознагражденія получаютъ эти люди за свой честный, за свой добросовѣстный, часто талантливый, всегда нелегкій трудъ.

Эти люди, составляющіе фундаментъ газетнаго дѣла.

Разсужденія, обобщенія фельетонистовъ и передовиковъ, это—все соусъ, въ которомъ подаются факты.

Но самое цѣнное, самое существенное, — факты, это вѣдь принадлежитъ репортерамъ.

И что же за это?

Что — этимъ безвѣстнымъ, безыменнымъ труженикамъ?

Когда умираютъ люди, подписывающіе свои статьи,— публика хоть нѣсколько дней поскучаетъ, не видя въ газетахъ привычной подписи.

Когда умираетъ репортеръ, это проходитъ незамѣтно.

Его строкъ больше нѣтъ, но вмѣсто нихъ есть другія строки, такія же безыменныя.

И эти сѣрыя строки смыкаются надъ его памятью, какъ смыкаются волны надъ головой утонувшаго человѣка.

И неизвѣстно, — былъ ли здѣсь когда-нибудь человѣкъ!

Но пусть такъ!

Газета, живущая всего одинъ день, очень плохой путь къ безсмертію.

Объ этомъ труженикѣ очень мало думаютъ.

Пусть и это будетъ такъ!

Вѣдь покупая въ ювелирномъ магазинѣ брошь, вы не думаете о тѣхъ, кто добываетъ это золото.

А не будь ихъ, не было бы и великолѣпной броши.

Репортеры получаютъ такіе гроши сравнительно съ интересомъ, который часто возбуждаютъ ихъ замѣтки, и той пользой, которую эти скромныя замѣтки приносятъ.

Но пусть и это будетъ такъ!

Справедливость — очень рѣдкая птица.

Но за что же это обидное, это незаслуженное отношеніе къ самой профессіи, не менѣе честной, чѣмъ всѣ другія профессіи, и болѣе полезной, чѣмъ многія другія.

Почему репортеру неловко сказать:

— Я репортеръ!

И ловко сказать доктору, что онъ докторъ, адвокату, что онъ адвокатъ, директору банка, что онъ директоръ банка.

„Во всякой рѣкѣ есть всякая рыба: и дурная и хорошая".

За что же это обидное обобщеніе распространяется именно на репортеровъ?

Почему имъ приходится быть тѣмъ колодцемъ, изъ котораго всѣ пьютъ, и въ который чаще всего плюютъ.

Репортеры, которые были когда-то, и о которыхъ я говорилъ, умерли какъ люди и вымерли какъ типъ.

Представлять себѣ теперешнихъ репортеровъ въ видѣ тѣхъ „типовъ", которые по трафарету рисуютъ гг. драматурги и беллетристы, это — все равно, что представлять себѣ артистовъ Малаго театра или театра г. Соловцова въ видѣ Аркашекъ, которыхъ перевозятъ изъ города въ городъ, завернувши въ коверъ.

Все измѣнилось.

Среди репортеровъ нѣтъ болѣе людей, пишущихъ „еще" съ четырьмя ошибками.

Имъ не нужно залѣзать подъ столы, чтобъ подслушивать, что происходитъ въ засѣданіяхъ, — они желанные гости во всякомъ учрежденіи, не боящемся свѣта.

Къ нимъ лично относятся, какъ относились, напримѣръ, къ покойному В. О. Клепацкому,—съ такимъ же точно почтеніемъ, какъ и ко всякому честному человѣку, занимающемуся полезнымъ общественнымъ дѣломъ.

И только одно, — они все еще не рѣшаются, не могутъ рѣшиться сказать громко и открыто, съ гордостью и достоинствомъ:

— Я репортеръ!

„Пустякъ!" скажете вы.

Посмотрѣлъ бы я, что сказали бы вы, если бъ вамъ неловко было назвать ту профессію честную, которою вы занимаетесь!

Вчера хоронили моего дорогого товарища В. О. Клепацкаго, и это горькое чувство обиды шевелилось въ моей душѣ; его не могли сгладить даже всеобщія сожалѣнія, которыя окружали безвременную могилу этого честнаго уважаемаго газетнаго труженика.

Мнѣ думалось:

— Да! Ты служилъ великому дѣлу — гласности. Ты былъ „только репортеръ“, но ты помогалъ суду быть „гласнымъ“ судомъ, передавая отчеты объ его засѣданіяхъ въ газетѣ. Ты помогалъ дать нравственное удовлетвореніе правымъ и обиженнымъ, доводя до всеобщаго свѣдѣнія судебные приговоры. Да! Ты пользовался заслуженнымъ уваженіемъ, какъ человѣкъ. Но почему-то ты, честный слуга честнаго дѣла, не могъ съ гордостью назвать своей профессіи: „Я репортеръ“!

Какъ скоро умираютъ люди, и какъ долго живутъ предразсудки...

В. И. Ковалевскій.

(воспоминаніе журналиста.)

Года три тому назадъ ко мнѣ въ Петербургѣ обратился полковникъ Н.

— Помогите силою печатнаго слова!

„Печатное слово“ у россіянина, это—уже послѣднее прибѣжище. Самое послѣднее.

Человѣкъ ужъ, значитъ, вездѣ былъ и нигдѣ ничего не добился. Въ консисторію, въ пробирную палатку раньше человѣкъ забѣжитъ.

— Можетъ, тамъ что выйдетъ!

Все-таки казенное мѣсто.

И когда нигдѣ ничего, тогда бѣжитъ въ „Запорожскую Сѣчь“:

— Помогите хоть вы, вольные люди!

Полковникъ Н. служилъ въ пограничной стражѣ и былъ исключенъ со службы, по военному суду, за подлогъ.

Полковнику Н., женатому и бездѣтному, подкинули ребенка.

Тысячи людей отправили бы этого ребенка въ воспитательный домъ. Полковникъ Н. принялъ его на воспитаніе.

Мальчика усыновили, и онъ выросъ „законнымъ“ сыномъ, не зная тайны своего рожденія.

Больше всего боялись, чтобы онъ не узналъ этой „тайны“.

Приказывая писарю написать формуляръ, полковникъ Н. велѣлъ вписать:

— При немъ сынъ. Зовутъ такъ-то.

И не поставилъ слова „усыновленный“.

Въ этомъ и заключался весь подлогъ.

Полковникъ Н. остался безъ службы, безъ средствъ, нищимъ и опозореннымъ:

— За подлогъ осужденъ!

Онъ обѣгалъ весь Петербургъ и, наконецъ, въ отчаяньи прибѣгъ къ „силѣ печатнаго слова“.

— Хотѣлъ въ Неву, но рѣшилъ раньше къ вамъ!— откровенно объяснилъ онъ.

— Mercі.

Я написалъ статью, которая „имѣла успѣхъ“. Она вызвала шумъ, статьи въ печати, массу писемъ.

Одни ужасались.

Другіе просили:

— Пожмите отъ насъ крѣпко-крѣпко руку полковнику Н. Такіе-то, такіе-то, такіе-то.

Третьи писали, что, читая, глазамъ не вѣрятъ:

— Какой же тутъ подлогъ? Доброе дѣло, а не подлогъ.

Среди этихъ писемъ было одно:

„Глубокоуважаемый В. М. Я прочелъ вашу статью и, чѣмъ могу, хотѣлъ бы быть полезенъ полковнику Н. Попросите его зайти ко мнѣ какъ-нибудь на-дняхъ. Я бываю свободенъ до 10 часовъ утра. Пусть предупредитъ меня письменно, въ какой день ему удобнѣе,—я буду его ждать. Адресъ мой: Фонтанка, домъ № такой-то. Примите и проч. В. Ковалевскій“.

Какой Ковалевскій? Всѣ знаютъ, что есть товарищъ министра финансовъ Владимиръ Ивановичъ Ковалевскій.

Но для товарища министра что-то ужъ очень „просто“. Товарищи министровъ, вѣдь это не товарищи журналистовъ. Какъ будто такъ и не пишутъ.

Должно-быть, „такъ Ковалевскій“, какой-нибудь Ковалевскій, однофамилецъ.

Я спросилъ у пріятеля, знакомаго съ В. И. Ковалевскимъ:

— Чей это почеркъ?

— Какъ чей? Владимира Ивановича Ковалевскаго, товарища министра финансовъ.

Полковникъ Н. не хотѣлъ вѣрить.

— Какъ? Самъ товарищъ министра... Меня, котораго отовсюду выгнали... самъ товарищъ министра...

Я далъ ему рекомендательное письмо:

„Глубокоуважаемый Владимиръ Ивановичъ! Отъ всей души благодарю васъ за добрую отзывчивость къ моей статьѣ. Не рѣшаюсь заѣхать поблагодарить васъ лично, боясь отнять у васъ время. Позвольте представить вамъ полковника Н., о которомъ я писалъ".

На слѣдующій день полковникъ Н. влетѣлъ въ мой кабинетъ. Сначала обнялъ меня, потомъ упалъ въ кресло и зарыдалъ.

— Боже мой... Я человѣкъ...

— Что съ вами, полковникъ?.. Что вы плачете? Что онъ съ вами сдѣлалъ?

У полковника понять что-нибудь было трудно:

— Я человѣкъ... Какой онъ человѣкъ... Я человѣкъ... Онъ человѣкъ...

И, немножко успокоившись, онъ разсказалъ связнѣе:

— Если бъ вы знали, какъ онъ меня принялъ... Меня... Куда ни обращусь,—„ничего не можемъ сдѣлать. Вы за подлогъ?.." Какъ внимательно выслушалъ, съ какимъ участіемъ разспрашивалъ... Теперь я спасенъ... Теперь мы не умремъ съ голода.

Черезъ три дня бравый полковникъ состоялъ уже на службѣ на Путиловскомъ заводѣ. Ему дана была должность, требовавшая отъ исполнителя честности, прежде всего честности, главнымъ образомъ честности.

Я самъ былъ растроганъ.

Чѣмъ журналистъ можетъ выразить свою глубокую, сердечную признательность?

Если у него есть книга,—онъ посылаетъ свою книгу съ соотвѣтствующею надписью. Книга, это — визитная карточка его души.

Черезъ нѣсколько дней, когда я послѣ работы выходилъ отъ себя, швейцаръ сказалъ мнѣ:

— Тутъ у васъ были нѣсколько человѣкъ. Я, какъ вы приказали, никого не пустилъ: „заняты".

Среди карточекъ была: Владимиръ Ивановичъ Ковалевскій.

— И этому господину сказалъ, что занятъ?

— Такъ точно. „Заняты, не приказано принимать".

Ну, ужъ министромъ-то выходилъ я! Я былъ сконфуженъ и на слѣдующее утро, въ половинѣ десятаго, летѣлъ къ В. И. Ковалевскому.

— Ихъ высокопревосходительство никого не приказали принимать!—величественно объявилъ мнѣ министерскій курьеръ.—Ихъ высокопревосходительство сейчасъ ѣдутъ на похороны князя Имеретинскаго.

— Въ такомъ случаѣ передайте карточку.

Едва успѣлъ я выйти изъ подъѣзда, какъ меня догналъ запыхавшійся курьеръ:

— Ихъ высокопревосходительство васъ просятъ къ себѣ!

Владимиръ Ивановичъ, простой, милый и обаятельный, дружески улыбаясь, встрѣтилъ меня въ дверяхъ гостиной:

— Я не хотѣлъ видѣть только вашу визитную карточку. А пріѣзжать ко мнѣ въ другой разъ, — вы человѣкъ занятой. Вы человѣкъ занятой, я человѣкъ занятой, но у меня есть четверть часа, сядемъ и поболтаемъ.

Я представился, началъ благодарить. Но В. И. перебилъ меня.

— Это я долженъ васъ благодарить. Вы своей статьей дали мнѣ возможность сдѣлать хорошее дѣло. Я еще въ

долгу у васъ. Это уже второй случай. Помните, вы мѣсяца два тому назадъ писали о служащемъ, пострадавшемъ при аккерманскомъ взрывѣ.

Въ Аккерманѣ произошелъ взрывъ казеннаго склада спирта. Нѣсколько человѣкъ было убито. Много ранено. Среди нихъ наиболѣе тяжко подвальный. У него треснулъ черепъ, ему придавило грудь, у него было сломано нѣсколько реберъ. Ему въ трехъ мѣстахъ переломило руку. Онъ потерялъ ногу.

И онъ же оказался „во всемъ виновнымъ".

Никто, конечно, не ждалъ, что онъ выживетъ. И когда производилось разслѣдованіе, виновнымъ во всемъ оказались не живые невредимые завѣдующіе складомъ, а „все равно долженствующій умереть подвальный".

— Умретъ, — что жъ ему будетъ?

Какимъ-то чудомъ онъ выжилъ. Калѣка, никуда не годный, онъ обратился съ требованіемъ, чтобъ обезпечили его участь.

— А то въ судъ подамъ!

— Вы въ судъ? А мы васъ подъ судъ. Обезпеченье участи! Благодарите еще Бога, что васъ не сажаемъ на скамью подсудимыхъ!

Тщетно обойдя все, — и въ консисторіи, навѣрное, былъ, — несчастный подвальный прибѣгъ къ „силѣ печатнаго слова".

— Спасите, защитите, помогите.

Я написалъ статью и самъ изумился чуду.

Прямо чудо.

Черезъ недѣлю я получилъ отъ подвальнаго телеграмму:

„Деньги мнѣ выданы. Подъ судъ не отдадутъ".

— Такъ это были вы, Владимиръ Ивановичъ?!

— Я прочелъ вашу статью и телеграфировалъ распоряженіе глупостей не дѣлать. Подъ какой тамъ судъ отдавать? Потерпѣвшаго! Просто, — выдать деньги, которыя онъ совершенно законно спрашиваетъ.

И Владимиръ Ивановичъ добавилъ:

— Да, печать можетъ быть большой силой.

— Могла бы! — поправилъ я.

— Можетъ! — настойчиво повторилъ онъ. — Вы знаете, я недавно злоупотребилъ вашимъ именемъ. Простите меня. Такое дѣло вышло. Тутъ въ одномъ посторонемъ нашему вѣдомствѣ служащій заболѣлъ психическимъ разстройствомъ. Что тутъ дѣлать? Разумѣется, обезпечить семью бѣдняги, — и только. Но тамъ какія-то формальныя причины. Словомъ, — невозможно. Я, знаете, и постращалъ главу вѣдомства..

Онъ назвалъ одно очень высокопоставленное лицо:

— Смотрите, въ печать попадете! Я ужъ слышалъ, что тамъ знаютъ. Выдали и обезпечили!

Владимиръ Ивановичъ разсмѣялся.

— Да, но только позвольте мнѣ внести одну поправку, Владимиръ Ивановичъ. Лицо, о которомъ вы говорите, между прочимъ, извѣстно тѣмъ, что никогда не обращалось съ жалобами на печать. Когда даже на него нападали, и нападали сильно. Есть два способа обращать вниманіе „на то, что пишется“ въ газетахъ. Одинъ — провѣрить, обсудить и, если указаніе вѣрно, имъ воспользоваться. Другой способъ — сказать: „пусть не говорятъ о моемъ вѣдомствѣ“. Да, не говорятъ, — и говорить не будутъ. Какой изъ этихъ способовъ у насъ общеупотребительнѣе, предоставляю судить вамъ самимъ, Владимиръ Ивановичъ.

Онъ улыбнулся:

— Да, это такъ. А все-таки сильно обращаютъ вниманіе на то, что пишется въ газетахъ.

— Да, но въ силу причины, о которой я сейчасъ сказалъ, толку-то не получается ни для дѣла ни для насъ. О насъ-то ужъ даже и говорить нечего. Намъ однѣ непріятности! Наиболѣе свободны мы по отношенію къ вѣдомству земледѣлія. Тамъ мы почти свободны. Да

еще финансовое вѣдомство меньше другихъ протестуетъ, когда мы говоримъ о дѣлахъ, подлежащихъ его компетенціи. По крайней мѣрѣ, у насъ установился такой взглядъ.

— Мы дѣлаемъ большое дѣло, — отвѣчалъ Владимиръ Ивановичъ, — и намъ нужны свѣдѣнія, совѣты, указанія. У насъ слишкомъ большое дѣло! — и онъ заговорилъ съ живостью. — На насъ нападаютъ, что мы все забираемъ въ свои руки. Говорятъ: „всѣ мы теперь подъ Министерствомъ Финансовъ ходимъ“. Это естественно. Мы много беремъ у народа. Мы беремъ налоги, прямые, косвенные. Если осталась у народа экономія — одинъ пропиваетъ ее на водкѣ. На казенной водкѣ. Другой, бережливый, копитъ и несетъ въ сберегательную кассу. Въ нашу кассу. Всякій избытокъ, — все поступаетъ къ намъ. Мы все беремъ, — мы же должны и давать. Давать, чтобы онъ могъ намъ платить, чтобъ ему было изъ чего. Это наша обязанность. Намъ и приходится брать въ свои руки дѣла, которыя подлежатъ компетенціи другихъ вѣдомствъ. Неизбѣжно приходится. Чтобъ поднять платежныя средства страны, ея благосостояніе, — прежде всего нужно просвѣщеніе. Какія школы — все равно. Но школы, школы. Это — главнѣе всего. Вотъ мы и взяли въ свои руки профессіональное образованіе. Покрывайте Россію сѣтью школъ. Наше вѣдомство — „молодое“, недавно реформированное. У насъ меньше рутины, канцелярщины, чѣмъ въ другихъ вѣдомствахъ. Обратитесь въ народное просвѣщеніе: дозвольте открыть школу, реальное училище? Пойдетъ, по принятому обычаю, безконечная переписка: вызывается ли потребностями данной мѣстности да собираніе по этому поводу матеріаловъ, да то, да се. По нашему мнѣнію, школа нигдѣ лишней быть не можетъ. Вездѣ — нужда. Прибавьте къ вашему реальному училищу, — ну, столярные классы. „Профессіональная школа!“ Подлежитъ компетенціи Министерства Финансовъ. Завтра же разрѣшеніе — открывайте! И

съ тѣхъ поръ, какъ это стало легко, сколько кинулось: „Мы желаемъ! Мы желаемъ открыть школу, училище!“

Владиміръ Ивановичъ говорилъ съ увлеченіемъ:

— Вся Россія, такимъ образомъ, покроется сѣтью школъ! Какъ онѣ будутъ называться, это все—равно. Но это школы. Школы! Главное!

Это было мое первое и послѣднее свиданіе съ Владиміромъ Ивановичемъ.

Я всегда смотрѣлъ на сановниковъ, какъ надо смотрѣть на великолѣпнаго королевскаго бенгальскаго тигра.

Любуйся, но не ласкай.

Эпиграфомъ ко всей моей скромной журнальной дѣятельности всегда было:

„Минуй насъ пуще всѣхъ печалей
И барскій гнѣвъ и барская любовь“...

Я слуга общества и больше ничей.

Я никогда не надѣялся напечатать этотъ „панегирикъ“, потому что никогда не думалъ, чтобъ я, журналистъ, „пережилъ“ товарища министра финансовъ В. И. Ковалевскаго.

Теперь я прошу васъ, г. редакторъ, напечатать этотъ маленькій очеркъ.

В. И. Ковалевскій вышелъ въ отставку. Его мѣсто занялъ В. И. Тимирязевъ.

Еще старикъ Марій сказалъ:

— Восходящее свѣтило всегда имѣетъ больше поклонниковъ, чѣмъ заходящее.

Всѣхъ вступающихъ сановниковъ привѣтствуютъ. И позвольте среди ликующихъ возгласовъ въ честь вступающаго раздаться моему тихому голосу въ честь уходящаго.

Дайте мѣсто этимъ „крокамъ“, этому штриховому наброску портрета В. И. Ковалевскаго.

Сдѣлать этотъ набросокъ портрета заставляетъ меня не только благодарность, но и сама справедливость.

Г. Г. Солодовниковъ.

Надъ владѣтелемъ пассажа
Разразился страшный громъ:
Этотъ миленькій папаша
Очутился подъ судомъ.
Хоть улики были ясны,
Но твердилъ сей мужъ прекрасный:
„Не моя въ томъ вина!
Наша жизнь, вся сполна,
Намъ судьбой суждена!“

Такъ пѣлъ лѣтъ 20 тому назадъ въ роли Ламбертуччіо, въ московскомъ „Эрмитажѣ“, у Лентовскаго, веселый и остроумный Родонъ.

„Боккачіо“ изъ-за этого шелъ чуть не каждый день.

Москва валомъ валила въ театръ:

— Гаврилу Гаврилова подъ орѣхъ раздѣлываютъ!

— Щепки летятъ! Одно слово!

Всѣ были въ восторгѣ.

И когда Родонъ кончалъ, публика аплодировала, стучала палками, орала:

— Браво!.. Бисъ!.. Бисъ!..

Куплетъ про „папашу“ повторялся три-четыре раза.

Г. Г. Солодовниковъ тогда только что прогремѣлъ на всю Россію всѣхъ возмутившимъ дѣломъ съ г-жой Куколевской.

Онъ прожилъ съ г-жой Куколевской много лѣтъ, имѣлъ отъ нея кучу дѣтей,—затѣмъ ее бросилъ.

Г-жа Куколевская предъявила искъ, требуя на содержаніе дѣтей.

Солодовниковъ отстаивалъ законное право бросать женщину, съ которой жилъ, необыкновенно мелочно и гадко.

Онъ представилъ на судъ всѣ счета, по которымъ платилъ за нее, перечень подарковъ, которые ей дарилъ, и доказывалъ, что она ему и такъ дорого стоила.

Его адвокатомъ былъ знаменитый Лохвицкій. Человѣкъ большого ума, таланта и цинизма.

Въ своей рѣчи онъ спрашивалъ:

— Разъ г-жа Куколевская жила въ незаконномъ сожительствѣ, — какія же у нея доказательства, что дѣти отъ Солодовникова?

Эта рѣчь, этотъ процессъ легли несмываемымъ пятномъ на знаменитаго адвоката.

А за Г. Г. Солодовниковымъ, съ легкой руки В. И. Родона, такъ на всю жизнь и утвердилась кличка „папаши“.

Это было одно изъ тѣхъ тяжкихъ преступленій противъ истинной общественной нравственности, которыя никогда не забываются.

Этого человѣка, за гробомъ котораго ѣхали пустыя кареты, знала вся Москва, и вся Москва терпѣть не могла.

Когда заходила рѣчь о „папашѣ“, наперерывъ разсказывали только анекдоты.

И анекдоты,—одинъ другого обиднѣе и хуже.

Купеческая Москва любитъ восхищаться дѣлечествомъ и способна приходить въ восторгъ отъ очень ужъ ловкаго фортеля, даже если отъ него и не совсѣмъ хорошо пахнетъ:

— Все-таки молодчина!

По купечеству многое прощается.

Г. Г. Содовниковъ былъ ловкій дѣлецъ, но даже и это въ немъ не вызывало ни у кого восторга.

Ужъ слишкомъ много лукавства было въ его дѣлечествѣ.

— Знаете, какъ „папаша“ пассажъ-то свой знаменитый выстроилъ? Исторія! Заходитъ это Гаврилъ Гаврилычъ въ контору къ Волкова сыновьямъ. А тамъ разговоръ. Такъ, извѣстно, языки чешутъ. „Такъ и такъ, думаемъ домъ насупротивъ, на уголку купить. Да въ цѣнѣ маленько не сходимся. Мы даемъ 250 тысячъ, а владѣлецъ хочетъ 275. Въ этомъ и разговоръ“. Хорошо-съ. Проходитъ недѣля. Волкова сыновья рѣшаютъ домъ за 275 тысячъ купить. Ѣдутъ къ владѣльцу. „Ваше счастье. Получайте!“—„Извините,—говоритъ,—не могу. Домъ ужъ проданъ!“—„Какъ проданъ? Кому проданъ?“—„Гаврилъ Гаврилычъ Солодовниковъ за 275 тысячъ пріѣхали и купили.“—„Когда купилъ?“—„Ровно недѣлю тому назадъ!“ Это онъ прямо изъ конторы!

— Ухъ! Лукавъ!

— Нѣтъ-съ, какъ онъ пассажъ свой въ ходъ пустилъ! Вотъ штука! Построилъ пассажъ,—помѣщенія прямо за грошъ сдаетъ. „Мнѣ большихъ денегъ не надо. Былъ бы маленькій доходецъ“. Торговцы и накинулись. Магазины устроили,—великолѣпіе. Публика стѣной валитъ. А Гаврилъ Гаврилычъ по пассажику разгуливаетъ и замѣчаетъ: къ кому сколько публики. А какъ пришелъ срокъ контрактамъ, онъ и говоритъ: „Ну-съ, публику къ мѣсту пріучили, — очень вамъ признателенъ. Теперь по этому случаю,—вы, вмѣсто 2 тысячъ, будете платить шесть. А вы вмѣсто трехъ и всѣ десять“. Попались, голубчики, въ ловушку. Онъ ихъ и облупливаетъ. Стонутъ!

— Онъ ужъ охулки на руку не положитъ!

— Шкуру съ кого хошь спуститъ!

И вдругъ,—на изумленье всей Москвѣ,—Г. Г. Солодовниковъ былъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники за пожертвованія на добрыя дѣла.

— Ну, дожили до генераловъ! Солодовниковъ—ваше превосходительство!

— Хе-хе-съ! Стало-быть, время такое пришло! Солодовниковъ—„генералъ отъ добраго сердца!“

— Гаврилъ Гаврилычъ „генералъ отъ щедрости“!

И Москву утѣшало одно:

— Съ большой ему непріятностью это генеральство пришлось!

Въ Москвѣ строили клиники.

Купцы и купчихи охотно жертвовали сотни тысячъ.

— На клинику по нервнымъ болѣзнямъ? Ахъ, я съ удовольствіемъ на нервныя болѣзни!

— Хирургическая? И на хирургическую дадимъ.

Но на клинику по венерическимъ болѣзнямъ не соглашался дать никто.

— Клиника по венерическимъ болѣзнямъ имени такого-то,—или особенно такой-то!

Ужасно пріятно звучитъ! Купцы ни за что:

— Вся Москва зубы проскалитъ!

Въ Москвѣ это всегда звучало страшной угрозой.

— Проходу не дадутъ. „Ты чего жъ это такъ особливо венерическимъ-то сочувствуешь?“

Никто не хотѣлъ жертвовать на „неприличную“ клинику:

— Страмъ!

Гаврила Гаврилычъ въ то время усиленно домогался генеральства.

Ему и предложили:

— Вотъ вамъ случай сдѣлать доброе дѣло!

Дѣлать нечего! Пошелъ Солодовниковъ на дѣло, отъ котораго отворачивались всѣ.

Москва „проскалила зубы“ и принялась разсказывать анекдоты про „его превосходительство“

— Хлѣбомъ его не корми, только „превосходительствомъ“ назови!

Заключая контрактъ съ нанимателемъ магазина, онъ читалъ договоръ, бормоча про себя:

— Тысяча восемьсотъ такого-то года, такого-то мѣсяца, числа, мы, нижеподписавшіеся, купецъ такой-то, съ одной стороны, и...

Тутъ онъ поднималъ голосъ и отчеканивалъ громко, ясно, отчетливо:

— ...дѣйствительный статскій совѣтникъ Гавріилъ Гавріиловичъ Солодовниковъ,—съ другой...

Дальше опять онъ бормоталъ какъ понамарь:

— ...Въ слѣдующемъ: Первое: я купецъ такой-то... Второе: я купецъ такой-то... Третье... Четвертое: я...

Онъ снова поднималъ голосъ и читалъ громко и съ разстановкой:

— Дѣйствительный статскій совѣтникъ Гавріилъ Гавріиловичъ Солодовниковъ...

Онъ былъ смѣшонъ, жалокъ и противенъ Москвѣ,— этотъ выкрашенный въ ярко-черную краску старикъ, ѣздившій на парѣ тощихъ, худыхъ одровъ.

Москва ненавидѣла его, и онъ боялся людей: никогда не ходилъ по улицѣ пѣшкомъ.

Про его скупость, про бѣдность, въ которой онъ жилъ, разсказывали чудеса, жалкія и забавныя.

Это былъ Плюшкинъ, — старикъ, сидѣвшій въ грязномъ халатѣ, въ убогой комнатѣ, среди старой, драной мебели, изъ которой торчали пружины.

А денежное могущество, настоящее могущество, благодаря которому онъ держалъ людей въ желѣзномъ кулакѣ, окружало Плюшкина мрачнымъ, почти трагическимъ ореоломъ.

Отъ него вѣяло уже не Плюшкинымъ а скупымъ рыцаремъ.

Вотъ вамъ современный скупой рыцарь.

На него работаютъ не какая-то тамъ вдова и ночной разбойникъ съ большой дороги.

Его состояніе не въ глупыхъ круглыхъ дублонахъ, которые блестятъ, не свѣтятъ и не грѣютъ въ подвалахъ, въ вѣрныхъ сундукахъ. Его состояніе въ „вѣчно живыхъ“ акціяхъ.

— Акція-съ! Я на сундукѣ сижу-съ, а подо мной тамъ акція живетъ — и безмолвно работаетъ-съ! Живетъ-съ, шельмочка! Какъ картофель въ погребѣ прорастаетъ-съ! Мертвая, кажется-съ, вчетверо сложена, лежитъ, притаилась, словно змѣя-съ, что въ клубокъ свернулась и замерла. А въ ней жизнь переливается. Живая-съ! Даже жутко... Тронуть ихъ-съ, а тамъ гдѣ-то люди запищали. Пуповина этакая, человѣческая. Оторвешь, и истекутъ кровью-съ!.. А вѣдь съ виду-то? Такъ бумажка... Лежитъ, а на ней купонъ растетъ. И невидимо зрѣетъ-съ! Наливается. Какъ клопикъ-съ! Налился, созрѣлъ,—сейчасъ его ножничками чикъ-съ. А въ это время другой шельмецъ купонъ ужъ наливаться началъ! Въ другой купонъ жизнь перешла. Какъ гидра-съ! Хе-хе! Ей одну башку срѣжешь, а у нея другая вырастаетъ! И этакъ безъ конца-съ! Тамъ люди бьются, работаютъ, въ огнѣ пекутся, на стужѣ стынутъ, мыслями широкими задаются, вверхъ лѣзутъ, срываются и падаютъ и вдребезги расшибаются. И все на меня-съ работаетъ! Все! Работайте, миленькіе! Контрактъ на васъ имѣю. На все, что вы сработаете, контрактъ имѣю. Акція!

Современный скупой рыцарь со своимъ „портфелемъ вѣрнымъ“ похожъ на хозяина кукольнаго театра. Онъ держитъ въ своихъ рукахъ пучокъ нитокъ, на которыхъ висятъ маріонетки. Дернетъ, — и заплясали, какъ онъ хочетъ.

Вотъ вамъ современная „сцена въ подвалѣ“.

Представьте себѣ такую фантастическую картину.

Въ убогой, грязной комнатѣ, на продранныхъ стульяхъ, вокругъ большого стола сидятъ десять бѣдно одѣтыхъ барышень и, полуголодныя, перебираютъ милліоны.

На столѣ—кипы „живыхъ“ бумагъ.

Тишина, только щелкаютъ, щелкаютъ безъ-умолку ножницы. И мимо рукъ этихъ голодныхъ сыплются, сыплются, сыплются деньги.

Старикъ въ грязномъ засаленномъ халатѣ сидитъ и зорко смотритъ за милліонами и за нищими.

Солодовниковъ могъ думать въ эти минуты:

— Я царствую! Какая волшебная радуга! Желтые, красные, голубые купоны. Вотъ этотъ—ярославскій! Директоръ тамъ хлопочетъ! Я знаю, въ замыслахъ широкъ онъ. Зарвался, кажется? Да ничего! Онъ извернется! Связи есть! И мнѣ купонъ мой оправдаетъ. Работай, братъ, работай! Какъ угорь въ камняхъ вьется, вейся! Работа вся твоя, мечты и связи, — все-все купономъ станетъ! А вотъ купонъ казанскій! Рязанскимъ прежде былъ! Я помню, какъ правленье избирали,—ко мнѣ пришли: „Нельзя ли на прокатъ намъ акцій. Для выборовъ“! Я знаю судьбу людей,—какихъ людей! Орловъ!—держу въ своихъ рукахъ. Тряхнуть мнѣ стоитъ,—посыплются! Да мнѣ-то что! „Возьмите!“ Десятковъ нѣсколько тысченокъ за прокатъ мнѣ принесли! Пусть воздухомъ бумажки вѣрныя подышатъ. „Возьмите на денекъ“. Я царствую! Какая радуга волшебная кругомъ! И сколькихъ человѣческихъ хлопотъ, трудовъ, усилій, жизней, — купонъ!—ты легковѣсный представитель!

И вотъ послѣ долгихъ лѣтъ могущества и боязни богатства и лишеній, мелкаго честолюбія и наживательства, пришла смерть.

Среди запаха лѣкарствъ въ комнатѣ повѣяло запахомъ разрытой могилы.

Его превосходительство, накрашенный старикъ, послалъ за нотаріусомъ.

Настала минута большой общественной опасности.

Человѣкъ, у котораго 48 милліоновъ, представляетъ собою уже общественную опасность.

Это нѣчто въ родѣ порохового погреба среди жилыхъ домовъ.

И когда умираетъ такой человѣкъ, это — все равно, что въ пороховомъ погребѣ поставили безъ подсвѣчника горящую свѣчку.

Сейчасъ огарокъ догоритъ, и какая катастрофа произойдетъ!

48 милліоновъ. Какую массу тьмы можно распространить, какую массу свѣта! Сколько счастья можно разлить на тысячи людей, — или, оставивъ все одному-двумъ,—поставить людямъ одну-двѣ новыя кровесосныя банки.

Моментъ былъ торжественный и въ общественномъ смыслѣ страшный.

Смерть стояла около и дышала могилой въ лицо.

...Любезному сыну моему—300 тысячъ. Другому... ну, этому будетъ и ста... Брату... Съ нимъ я въ ссорѣ... Брату ничего... Имущество ликвидировать. Продать все, да не сразу! А такъ лѣтъ въ десять, въ пятнадцать. А то продешевишь. На биржу нельзя выбрасывать такую уйму акцій. Упадутъ...

Это говорилъ его превосходительство Гаврила Гаврилычъ, котораго знала вся Москва, дѣлецъ, который уже умиралъ.

А теперь заговорила безсмертная душа, которая не умираетъ даже тогда, когда человѣкъ живетъ и, казалось бы, совсѣмъ погрязъ въ мелочахъ жизни.

— 36 моихъ милліоновъ раздѣлить на три равныя части и отдать на нужды народа.

То говорилъ Гаврила Гавриловичъ, котораго знали всѣ, и въ его распоряженіяхъ слышались послѣдніе отзвуки его дѣлечества, его симпатій, антипатій, всей его жизни,—теперь, за 5 дней до смерти, заговорилъ другой человѣкъ, котораго не зналъ никто.

Новый человѣкъ!

Заговорилъ въ первый разъ.

Изъ ветхаго, умирающаго брюзги-Плюшкина выглянулъ живой человѣкъ и радостно и съ любовью улыбнулся людямъ.

Словно дивную скрипку вынули изъ стараго безобразнаго футляра. И прозвучала на ней чудная мелодія.

50 лѣтъ онъ прожилъ вдали отъ людей и за 5 дней до смерти сдѣлался всѣмъ родной и близкій. Онъ почувствовалъ родными, близкими и дорогими всѣхъ, а не только окружающихъ.

— Люблю васъ! — на прощанье сказалъ онъ людямъ.

И въ этой любви родилась высокая справедливость: онъ отдавалъ другимъ все, что заработано другими.

Всю жизнь деньги владѣли имъ, и за 5 дней до смерти онъ овладѣлъ деньгами. Кумиръ превратился въ инструментъ. И, какъ художникъ-творецъ, онъ ударилъ по этому инструменту и извлекъ изъ него мощный, необыкновенной красоты аккордъ.

Какъ это странно.

Какая-то оперетка, кончившаяся звуками Бетховена!

А вѣдь этотъ „новый“ человѣкъ, котораго никто не зналъ, жилъ всегда въ этомъ старомъ, ветхомъ человѣкѣ, котораго знали всѣ.

Доказательство—духовное завѣщаніе.

12 милліоновъ—на устройство женскихъ гимназій по образцу существующей въ г. Орловѣ, Вятской губ.

Гимназія гор. Орлова — совершенно особая гимназія. Она выстроена крестьянами и существуетъ для крестьянскихъ дѣвушекъ.

Тамъ нѣтъ ни форменныхъ „коричневыхъ кашемировыхъ“ платьевъ ни „обязательныхъ“ черныхъ передниковъ. Нѣтъ классныхъ дамъ, слѣдящихъ за манерами.

Туда изъ окрестныхъ селъ крестьяне свозятъ въ телѣгахъ и на розвальняхъ своихъ дочерей. Ученицы являются въ гимназію въ зипунахъ. Сидятъ въ классѣ въ посконныхъ платьяхъ. Кормятся крестьянской ѣдой, которую привезли изъ дома.

Часть изъ нихъ пойдутъ на высшіе курсы и крестьянками, знающими деревенскій бытъ, вернутся помогать и служить деревнѣ. Часть — пойдутъ въ сельскія учительницы и будутъ учить своихъ. Большинство просто образованными дѣвушками вернутся домой, повыйдутъ замужъ, внесутъ свѣтъ въ темную крестьянскую жизнь, вырастятъ будущее, уже просвѣщенное, не такое, какъ теперь, поколѣніе.

Объ этой гимназіи писали въ газетахъ. Солюдовниковъ, слѣдовательно, читалъ, интересовался, думалъ, пришелъ къ убѣжденію, что народу надо привить настоящее, серьезное просвѣщеніе, а не одно только „начальное“.

Вѣдь милліоновъ, и такъ скопленныхъ милліоновъ на вѣтеръ не бросаютъ. Значитъ, онъ думалъ, много думалъ,—и не объ однихъ только купонахъ.

12 милліоновъ передать въ вѣдѣніе земствъ для устройства профессіональныхъ школъ.

Именно,—въ вѣдѣніе земствъ.

Слѣдовательно, онъ сравнивалъ дѣятельность земствъ съ дѣятельностью другихъ вѣдомствъ, слѣдилъ за нею, интересовался, принималъ къ сердцу, — жилъ жизнью настоящаго гражданина.

Если дѣятельность земствъ возбуждала въ немъ такое довѣріе, если крестьянская гимназія въ городѣ Орловѣ

радовала его, какъ новое откровеніе,—если одни факты общественной жизни его привлекали его къ себѣ, значитъ, другіе факты его огорчали, печалили, заставляли страдать въ душѣ.

Онъ волновался же, значитъ, гражданскими интересами, жилъ гражданской жизнью.

Но жилъ въ душѣ, глубоко затаившись и молча.

Всѣ думали, что онъ ходитъ по пассажу, думая:

„Какъ бы накинуть еще на нанимателя тысченку?"

А онъ думалъ еще:

„Какъ бы на эти деньги улучшить положеніе ихъ несчастныхъ приказчиковъ".

И вѣроятно, много и долго думалъ и взвѣшивалъ этотъ человѣкъ, знавшій цѣну деньгамъ, прежде чѣмъ пришелъ къ рѣшенію:

— 12 милліоновъ—на постройку дешевыхъ квартиръ для бѣдныхъ, чтобъ стоимость квадратной сажени не превышала трехъ рублей въ годъ. Преимущество же въ наймѣ этихъ квартиръ дать бывшимъ приказчикамъ Солодовниковскаго пассажа.

Такъ подъ маской глубокаго равнодушія ко всему, что не деньги, глубокой безучастности ко всему, что не „я", жилъ, таился, думалъ объ общественныхъ дѣлахъ, молча радовался, молча печалился человѣкъ, гражданинъ.

Какъ видно изъ этого много и долго обдумывавшагося завѣщанія, онъ былъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ казался.

И потому Г. Г. Солодовниковъ мнѣ кажется удивительно типичнымъ русскимъ явленіемъ.

Онъ—какъ капля, взятая изъ моря. Она—той же воды, что и все море.

Что такое современный русскій человѣкъ?

Не опредѣляется ли онъ такъ:

— Совсѣмъ не то, что кажется.

Вы полагаете, онъ думаетъ то, что онъ говоритъ? Чувствуетъ такъ, какъ онъ поступаетъ?

Какъ часто вы попадаете впросакъ: и тогда, когда зовете другого „ваше превосходительство“, думая, что этимъ совсѣмъ его ублаготворили,—и тогда, когда другой, согнувшись, какъ туго натянутый лукъ, пускаетъ въ ваше сердце льстивое:

— Ваше превосходительство!

Что въ дѣйствительности думаетъ современный русскій человѣкъ? Никогда вамъ не узнать этого ни по его словамъ ни по его поступкамъ.

Покойный Солодовниковъ пожертвовалъ что-то на мраморную лѣстницу для московской консерваторіи.

Пожертвованіе на консерваторію—пожертвованіе „на виду“.

Директоръ московской консерваторіи, взысканный богами, его превосходительство г. Сафоновъ, извѣстенъ въ музыкѣ тѣмъ, что онъ умѣетъ извлекать удивительные аккорды изъ московскихъ купцовъ.

— Лѣстницу для новаго зданія консерваторіи надо? Сейчасъ аккордъ на купцахъ,—и пожалуйте—лѣстница! Органъ нуженъ? Легкая фуга на милліонерахъ, — и органъ!

— Ваше превосходительство, Гаврила Гавриловичъ! Для консерваторіи-съ! Пожертвованіе для консерваторіи на виду-съ! Поощреніе возможно-съ!

— На консерваторію-съ? Извольте, ваше превосходительство, на консерваторію-съ!

И, вѣроятно, взысканный богами его превосходительство, г. Сафоновъ, думалъ въ это время, что взялъ Гаврила Гавриловича цѣликомъ. Быть-можетъ, даже въ душѣ умилялся или удивлялся:

— Чего русскому человѣку нужно?! Ничего русскому человѣку не нужно! Какъ-нибудь попасть „на видъ“,— и больше ему ничего не надо!

И смотрѣлъ, вѣроятно, на его превосходительство Гаврилу Гавриловича свысока.

А Гаврила Гаврилычъ, можетъ-быть, въ это время думалъ:

„Нѣтъ, вотъ 12 милліончиковъ на женскія гимназіи для крестьянокъ махнутъ. Вотъ это дѣло. Чтобы просвѣщенье-то въ корень самый, да настоящее, народу привить! Вотъ это будетъ дѣло!

И, быть-можетъ, тоже свысока смотрѣлъ въ эту минуту на его превосходительство г. Сафонова, говорившаго о мраморной лѣстницѣ для московской консерваторіи.

— Что же за загадка русскій человѣкъ?

Одинъ раскольникъ какъ-то говорилъ мнѣ:

— Такъ-съ избеночка небольшая, дрянненькая-съ. На бокъ ее покосило. Мохомъ заросла. И въ окна не разглядишь, что въ ей дѣется. Потому стекла вѣтромъ повыбиты и, взамѣсто стекла, оконницы пузыремъ затянуты. А внутрѣ живой человѣкъ сидитъ. Сидитъ и носа не показываетъ. Потому на дворѣ сиверко. Онъ и сидитъ себѣ, притаился. А живъ! А есть живой человѣкъ!

Да проститъ мнѣ тѣнь Г. Г. Солодовникова, что, рисуя портретъ, я не утаилъ темныхъ красокъ.

Но въ этомъ контрастѣ свѣта и тѣней и весь интересъ всего страннаго явленія.

Среди старыхъ легендъ встрѣчаются такіе разсказы. Жилъ-жилъ, человѣкъ, полный слабостей, грѣшникомъ. Съ волками жилъ, по-волчьи вылъ,—и еще, какъ сильный и могучій, громче другихъ вылъ. А въ концѣ концовъ вдругъ сразу, какъ богатырь, стряхнулъ съ себя стараго, слабаго грѣшника и праведникомъ унесся въ небеса.

Такъ и Г. Г. Солодовниковъ.

Великимъ грѣшникомъ въ глазахъ общественнаго мнѣнія жилъ онъ много-много лѣтъ.

И великимъ общественнымъ праведникомъ унесся съ земли въ вѣчность.

М. В. Лентовскій разсказывалъ давно, что, смѣясь, онъ часто говорилъ Г. Г. Солодовникову:

— Ну, куда ты свои милліоны, старикъ, дѣнешь? Дѣлать съ ними что будешь?

— А вотъ умру, — Москва узнаетъ, кто такой былъ Гаврила Гавриловичъ! — отвѣчалъ Солодовниковъ.

Какъ умѣетъ, однако, русскій человѣкъ терпѣливо и долго таить въ себѣ живого человѣка...

В. И. Сафоновъ.

Извѣстный композиторъ М. М. Ипполитовъ-Ивановъ, какъ намъ сообщаютъ, работаетъ въ настоящее время надъ новымъ произведеніемъ, — симфоніей героической и въ то же время весьма патетической.

„Отреченіе Василія Ильича Сафонова". По другимъ слухамъ, симфонія будетъ называться иначе. Просто:

„Отреченіе Василія Грознаго".

Работа, — какъ всегда композиторами, держится въ секретѣ. Но лица, которымъ удалось видѣть партитуру симфоніи, отзываются о ней съ большой похвалой.

Симфонія очень оригинальна.

Она начинается унисономъ духовныхъ инструментовъ. Слышатся тихіе звуки. Духовые варіанты. Это должно изображать ворчаніе профессоровъ.

Время отъ времени раздается слабый пискъ флейты. Прижали то того, то другого преподавателя.

Временами раздается довольно отчаянный вопль кларнета. Словно кому-то наступили на хвостъ.

Раздастся и замретъ.

Сначала ворчанье духовыхъ идетъ подъ сурдинку. Затѣмъ разрастается все шире и шире. Становится громче и смѣлѣй.

Тутъ вступаютъ со своимъ солиднымъ ворчаньемъ контрабасы.

Это уже ворчитъ дирекція.

Контрабасы изображаютъ купцовъ, что контрабасамъ совсѣмъ не трудно. Въ ихъ ворчаньи слышится что-то „джентльменское“, но строгое.

Ворчанье растетъ, превращается въ цѣлую небольшую бурю, — такъ, буря въ стаканѣ воды! — и вдругъ прерывается страшнымъ, громовымъ аккордомъ.

Аккордомъ, отъ котораго испуганно дрожатъ хрустальныя подвѣски у люстръ.

Что-то ужасное!

Турецкій барабанъ гремитъ, маленькіе барабаны бьютъ дробь, мѣдныя тарелки звенятъ, духовые берутъ fortissimo, струнные въ униссонъ хватаютъ высочайшую ноту, на арфѣ лопаются всѣ струны.

Аккордъ гремитъ:

— Ухожу!

Г. Конюсъ узналъ бы въ этомъ аккордѣ голосъ г. Сафонова.

Когда симфонію будутъ исполнять въ новомъ залѣ консерваторіи, — всѣ профессора и преподаватели при этомъ аккордѣ невольно встанутъ и поспѣшатъ поклониться.

За аккордомъ пауза.

Большая, томительная, зловѣщая пауза, какъ всегда въ музыкѣ передъ несчастіемъ.

Молчаніе — знакъ согласія.

И вотъ въ этой мертвой тишинѣ тихо всхлипываютъ скрипки.

Онѣ шепчутся между собой и плачутъ. Болтливыя скрипки разсказываютъ все віолончелямъ. Чувствительныя віолончели рыдаютъ и передаютъ страшную вѣсть мрачнымъ контрабасамъ. Контрабасы начинаютъ по обыкновенію выть бѣлугой — и заражаютъ плачемъ весь оркестръ.

Треугольникъ печально звенитъ, какъ будто ему разбили сердце. Большой турецкій барабанъ зловѣще

грохочетъ, какъ будто онъ провидитъ будущее и ничего не зритъ въ немъ, кромѣ ужаса, мрака и горя.

Мѣдные даютъ волю накопившимся въ груди воплямъ и стонамъ и плачутъ громко, какъ плакала Андромаха надъ тѣломъ Гектора, въ ужасѣ восклицая:

— Илліонъ!

Всхлипываютъ кларнеты, и слабонервныя флейты истерически визжатъ.

Эта сцена ужаса, смятенія и непритворнаго—главное, непритворнаго,—горя прерывается на одинъ мигъ звономъ, свистомъ, лихими аккордами.

По вздрогнувшему оркестру проносится что-то въ родѣ безумной венгерской пляски изъ рапсодіи Листа.

Это пляски г. Конюса.

И снова все смѣняется рыданіемъ, котораго безъ слезъ, — безъ искреннихъ слезъ! — никто не въ силахъ будетъ слушать. Барабаны пророчески-зловѣще рокочутъ, флейты въ истерикѣ, мѣдные гремятъ, словно въ день конца міра и страшнаго суда.

Гобои, — эти вороны оркестра, всегда въ музыкѣ предвѣщающіе несчастіе, — поютъ своими замогильными голосами:

— Конецъ, конецъ консерваторіи!

Такова симфонія, которую, по слухамъ, пишетъ г. Ипполитовъ-Ивановъ къ уходу почтеннѣйшаго директора московской консерваторіи Василія Ильича Сафонова.

Профессора консерваторіи исполнятъ ее съ особымъ удовольствіемъ: если не можешь плакать самъ, хорошо хоть заставить плакать инструментъ.

А дирекція выслушаетъ симфонію съ радостью:

— Вотъ! У насъ занимаются не только „службой“, но и музыкой!

Симфонія стоитъ героя, и герой стоитъ симфоніи.

Если бы я былъ Корнеліемъ Непотомъ и составлялъ жизнеописанія великихъ людей, — біографію г. Сафонова я началъ бы такъ:

— Сафоновъ, Василій Ильичъ, сынъ Давыдова и его віолончели.

„Знаменитость“ В. И. Сафонова началась съ того дня, когда на афишѣ появилось:

— Концертъ Давыдова и Сафонова.

Отдѣльно Сафонова никто не произносилъ. Сафонова, — выражаясь юридически, — „какъ такового“, не существовало.

— Сафоновъ!

— Что за Сафоновъ?

— А Давыдовъ и Сафоновъ.

— А! Этотъ! Теперь знаю!

„Давыдовъ и Сафоновъ“ это было нераздѣльно.

Какъ „Малининъ и Буренинъ“, „Мюръ и Мерилизъ“. (Только Давыдова-то безъ Сафонова знали). Давыдовъ и Сафоновъ. Это были: человѣкъ и его тѣнь. Великій человѣкъ и его тѣнь. Очень великій человѣкъ и тѣнь очень великаго человѣка.

Давыдовъ удивительно игралъ на віолончели.

Въ его рукахъ віолончель плакала, рыдала, стонала.

И вотъ среди этихъ мукъ давыдовской віолончели на концертной эстрадѣ, и родился „знаменитый музыкантъ Василій Ильичъ Сафоновъ“.

Когда умеръ Давыдовъ, на его могилѣ выросъ Сафоновъ!

И въ эту минуту онъ имѣлъ такой видъ, съ какимъ обыкновенно читаютъ пушкинскій монологъ:

„Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Димитріемъ изъ гроба нарекла“...

— Человѣкъ умираетъ, и изъ него на могилѣ вырастаетъ лопухъ! — говоритъ Базаровъ.

Базаровъ грубъ.

Давыдовъ умеръ, и на его могилѣ выросъ лавровый кустъ — г. Сафоновъ.

Г. Сафоновъ, это — вдова великаго человѣка, осѣненная лучами его славы.

Въ „знаменитости“ г. Сафоновъ есть одно недоразумѣніе, которое все никакъ не можетъ разъясниться.

Г. Сафоновъ знаменитъ и у насъ и за границей.

Но за границей его считаютъ „знаменитымъ въ Россіи музыкантомъ“, а у насъ „музыкантомъ, знаменитымъ за границей“.

Когда г. Сафоновъ пріѣзжаетъ за границу, тамъ говорятъ:

— Вотъ ѣдетъ музыкантъ. Онъ очень знаменитъ въ Россіи. Устроимъ ему достодолжный пріемъ!

А когда Сафоновъ гастролируетъ въ качествѣ дирижера по русскимъ городамъ, у насъ говорятъ:

— Вотъ музыкантъ! Онъ очень знаменитъ за границей! Не ударимъ же лицомъ въ грязь передъ Европой.

Европа думаетъ, что мы чтимъ. Мы думаемъ, что Европа чтитъ.

Недоразумѣніе, какъ видите, международнаго свойства, и мы очень боимся, не вышло бы изъ-за этого конфликта и кровопролитной войны между просвѣщенными народами.

Вдругъ Европа возьметъ, да и спроситъ:

— А какое, собственно, произведеніе создалъ вашъ великій музыкантъ?

Что мы отвѣтимъ?

— Новое зданіе московской консерваторіи!

Выстроилъ каменный домъ.

Ученые музыкальные нѣмцы подумаютъ, что мы надъ ними смѣемся, и обидятся. За нѣмцами обидятся еще болѣе ученые музыкальные чехи. А за нашими друзьями чехами обидятся и наши друзья, музыкальные французы.

Такъ изъ-за г. Сафонова мы перессоримся со всѣмъ свѣтомъ.

Единственное „музыкальное произведеніе“ г. Сафонова создано изъ кирпичей, бетона и желѣзныхъ балокъ.

Г. Сафоновъ построилъ новое зданіе московской консерваторіи „самъ“, какъ Соломонъ самъ построилъ свой великолѣпный храмъ.

Вы знаете легенду о постройкѣ Соломонова храма? Онъ приснился Соломону во снѣ. Можете себѣ представить, что за сны могли сниться Соломону! Проснувшись, Соломонъ сказалъ:

— Возсоздамъ свой сонъ! Построю самъ, какъ видѣлъ во снѣ!

Проснувшись, г. Сафоновъ сказалъ:

— Построю самъ! Самъ, какъ хочу!

Архитекторы говорятъ, что въ постройкѣ великаго музыканта, вообразившаго себя „великимъ архитекторомъ“, есть много погрѣшностей противъ архитектуры.

Но дѣло не въ этомъ.

Дѣло въ томъ, что г. Сафоновъ можетъ спѣть, какъ Самъ-Пью-Чай въ „Чайномъ цвѣткѣ“:

— Я одинъ!

И всѣ должны, какъ въ „Чайномъ цвѣткѣ“, поклониться и подтвердить:

— Онъ одинъ!

Онъ одинъ создалъ новое зданіе московской консерваторіи. Онъ собралъ купеческія пожертвованія! И богиня музыки должна поцѣловать ему ручку.

Не знаю, почему, но московская консерваторія всегда была слегка,—какъ бы это выразиться?—на легкомъ „воздержаніи“ у московскихъ купцовъ.

Она всегда была слегка „капризомъ“ московскихъ купцовъ.

Московскіе купцы засѣдали въ дирекціи и вершили дѣла.

Гобой ссорился съ тромбономъ, и на разбирательство шли къ аршину.

Какое родство между этими инструментами, понять мудрено. Но всегда было такъ.

Музыканты воевали другъ съ другомъ изъ-за контрапункта—и несли свои контрапунктовыя недоразумѣнія на разрѣшеніе... гг. купцовъ.

И купцы, засѣдавшіе въ дирекціи, „авторитетно“ разрѣшали:

— Контрапунктъ правъ!

Или:

— Отмѣнить сей контрапунктъ!

Или почтительно привставали и освѣдомлялись:

— А что говоритъ по сему контрапункту его превосходительство генералъ-басъ?

При г. Сафоновѣ это купеческое владычество достигло апогея.

Г. Сафоновъ виртуозъ на купцахъ. Что онъ и доказалъ постройкой новаго зданія консерваторіи.

Изъ такого неблагодарнаго и довольно деревяннаго инструмента, какъ купецъ, онъ умѣетъ извлекать могучіе стотысячные аккорды.

И подъ его геніальными пальцами изъ любого купца такъ и посыплются, такъ и полетятъ рельсовыя балки, бетонныя трубы и тысячи кирпичей.

Какой странный Рубинштейнъ!

Да, за этимъ великимъ человѣкомъ есть заслуга и, кромѣ того, что онъ аккомпанировалъ покойному Давыдову.

Онъ построилъ огромное новое зданіе консерваторіи. Но и прославилъ же онъ этимъ огромнымъ зданіемъ консерваторію.

Исторія съ г. Канюсомъ достаточно показала, что творится за этими новыми стѣнами.

Совсѣмъ сцена изъ комедіи „Въ чужомъ пиру похмелье“.

— Кто меня можетъ обидѣть?

— Кто тебя, Китъ Китычъ, можетъ обидѣть. Ты самъ всякаго обидишь!

При конюсовскомъ инцидентѣ огласился цѣлый синодикъ ушедшихъ „изъ-подъ власти Василія Ильича".

Все молодое, талантливое, а потому смѣлое и державшее голову по заслугамъ высоко, — должно было уходить.

Такихъ Василію Ильичу не требовалось.

— Василій Ильичъ такихъ не любитъ.

Все, что оставалось, все, что хотѣло оставаться, держало голову долу и смиренно должно было твердить:

— Вы, Василій Ильичъ, есть нашъ отецъ и благодѣтель! На все, Василій Ильичъ, есть ваша воля! Какъ ужъ вы, Василій Ильичъ!

И въ этомъ высшемъ музыкальномъ учрежденіи звучалъ одинъ мотивъ:

— Ручку, Василій Ильичъ!

„Духа не угашайте!"

А духъ былъ угашенъ.

Въ этихъ пышныхъ палатахъ, построенныхъ на извлеченныя изъ купцовъ деньги, горѣло электричество, но духъ тамъ не горѣлъ. А если горѣлъ, то только желаніемъ прислужиться.

Лучше бы онъ не горѣлъ вовсе, чѣмъ такъ чадить.

Въ этомъ чаду и копоти задыхалось все молодое и талантливое.

Одинъ мажорный аккордъ звучалъ въ этихъ стѣнахъ:

— Кто построилъ новое зданіе?

Ему отвѣчали въ минорѣ:

— Все вы, Василій Ильичъ! Все вы.

— Должны вы это чувствовать?

— Чувствуемъ, Василій Ильичъ, чувствуемъ!

Такъ тяжело легло на консерваторію каменное благодѣяніе В. И. Сафонова.

Трепетные „облагодѣтельствованные“ спѣшили угадать волю „самого“!

Они готовы были съѣсть человѣка, виновнаго только въ томъ, что онъ:

— Не угоденъ Василію Ильичу!

Величайшее преступленіе въ московской консерваторіи.

Говоря высокимъ слогомъ, новое зданіе консерваторіи было храмомъ „Василія Ильича“, гдѣ ему приносились человѣческія жертвоприношенія.

Говоря стилемъ не столь высокопарнымъ, въ консерваторіи непрерывно разыгрывалась оперетка „Чайный цвѣтокъ“.

Мандаринъ Самъ-Пью-Чай пѣлъ:

— Я одинъ!

А мелкіе „мандаринчики безъ косточекъ“ подпѣвали:

— Онъ одинъ!

— Знаю все!

— Знаетъ все!

А надъ всѣмъ этимъ царила дирекція, гдѣ „джентльмены“, — покорные инструменты въ рукахъ могучаго виртуоза,—издавали тѣ звуки, которые угодно было извлекать изъ нихъ „Василію Ильичу“. „Джентльмены“, пресерьезно считавшіе Василія Ильича „его превосходительствомъ генералъ-басомъ, какъ это въ музыкѣ полагается“, знали только одно:

— Василій Ильичъ такъ хочетъ!

Какая честь сидѣть рядомъ съ Василіемъ Ильичемъ.

Какая гордость разрѣшить вопросъ такъ, какъ его разрѣшилъ и „самъ“ Василій Ильичъ.

— Да, онъ рѣшаетъ музыкальные вопросы, какъ великій музыкантъ!

Какой еще похвалы „джентльмену“ нужно!

Такъ игралъ Василій Ильичъ на консерваторіи, какъ на органѣ,—безпрерывный гимнъ своему величію.

На купцахъ-джентльменахъ, какъ на клавишахъ. Профессоровъ нажимая, какъ педаль.

И вдругъ этотъ величественный гимнъ прервался.

Раздадутся другіе звуки.

Безпрерывный гимнъ Василію Ильичу прожужжалъ всѣмъ уши.

Купцы, и тѣ ворчатъ:

— Довольно! Нельзя ли поставить какой-нибудь другой валъ!

„Василій Грозный“ удаляется въ Александровскую слободу.

И въ консерваторіи зазвучитъ героическая и патетическая симфонія, написанная въ честь его ухода.

Заплачутъ віолончели, истерически завизжатъ флейты, гобои зловѣще загудятъ.

— Конецъ, конецъ теперь московской консерваторіи.

Не въ обиду будь сказано консерваторскимъ виртуозамъ,—намъ кажется, что гобои врутъ.

Шаляпинъ въ „Мефистофелѣ“.

(Изъ миланскихъ воспоминаній).

Представленіе „Мефистофеля“ начиналось въ половинѣ девятаго.

Въ половинѣ восьмого Арриго Бойто раздѣлся и легъ въ постель.

— Никого не пускать, кромѣ посланныхъ изъ театра.

Онъ поставилъ на ночной столикъ растворъ брома.

И приготовился къ „вечеру пытокъ“.

Словно приготовился къ операціи.

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ „Мефистофель“ въ первый разъ былъ поставленъ въ „Scala“.

Арриго Бойто, одинъ изъ талантливѣйшихъ поэтовъ и композиторовъ Италіи,—долго, съ любовью работалъ надъ „Мефистофелемъ“.

Ему хотѣлось возсоздать въ операѣ Гётевскаго „Фауста“, — вмѣсто разсыропленнаго, засахареннаго, кисло-сладкаго „Фауста“ Гуно.

Настоящаго Гётевскаго „Фауста“. Настоящаго Гётевскаго Мефистофеля.

Онъ переводилъ и укладывалъ въ музыку Гётевскія слова.

Онъ ничего не рѣшался прибавить отъ себя.

У Гёте Мефистофель появляется изъ пуделя.

Это невозможно на сценѣ.

Какъ сдѣлать?

Бойто бьется, роется въ средневѣковыхъ нѣмецкихъ легендахъ „о докторѣ Фаустѣ, продавшемъ свою душу чорту“.

Находитъ!

Въ одной легендѣ чортъ появляется изъ монаха.

15 лѣтъ тому назадъ „Мифистофель“ былъ поставленъ въ „Scala“.

Мефистофеля исполнялъ лучшій басъ того времени.

15 лѣтъ тому назадъ публика освистала „Мефистофеля“.

Раненый въ сердце поэтъ-музыкантъ съ тѣхъ поръ въ ссорѣ съ миланской публикой.

Онъ ходитъ въ театръ на репетиціи. На спектакль—никогда.

Мстительный итальянецъ не можетъ забыть.

„Забвенья не далъ Богъ, да онъ и не взялъ бы забвенья“.

Онъ не желаетъ видѣть:

— Этой публики!

Затѣмъ „Мефистофель“ шелъ въ другихъ театрахъ Италіи. Съ огромнымъ успѣхомъ. „Мефистофель“ обошелъ весь міръ, поставленъ былъ на всѣхъ оперныхъ сценахъ. Отовсюду телеграммы объ успѣхѣ.

Но въ Миланѣ его не возобновляли.

И вотъ сегодня „Мефистофель“ апеллируетъ къ публикѣ Милана.

Сегодня пересмотръ „дѣла объ Арриго Бойто, написавшемъ оперу „Мефистофель“.

Пересмотръ несправедливаго приговора. Судебной ошибки.

Въ качествѣ защитника приглашенъ какой-то Шаляпинъ, откуда-то изъ Москвы.

Зачѣмъ? Почему?

Говорятъ, онъ создалъ Мефистофеля въ оперѣ Гуно. А! Такъ вѣдь то Гуно! Нѣтъ на оперной сценѣ арти-

ста, который создалъ бы Гётевскаго Мефистофеля, настоящаго Гётевскаго Мефистофеля. Нѣтъ!

На репетиціи Бойто, слушая свою оперу, сказалъ, ни къ кому не обращаясь:

— Мнѣ кажется, въ этой оперѣ есть мѣста, которыя не заслуживаютъ свиста!

Онъ слушалъ, онъ строго судилъ себя.

Онъ вынесъ убѣжденіе, что это не плохая опера.

Но спектакль приближается. Бойто не въ силахъ пойти даже за кулисы.

Онъ раздѣлся, легъ въ постель, поставилъ около себя растворъ брома:

— Никого не пускать, кромѣ посланнаго изъ театра!

И приготовился къ операціи.

* * *

Такъ наступилъ вечеръ этого боя.

Настоящаго боя, потому что передъ этимъ въ Миланѣ шла мобилизація.

* * *

Редакція и театральное агентство при газетѣ „Il Teatro“ полны народомъ.

Можно подумать, что это какая-нибудь политическая сходка. Заговоръ. Лица возбуждены. Жесты полны негодованія. Не говорятъ, а кричатъ.

Всѣхъ покрываетъ великолѣпный, „какъ труба“, басъ г. Сабеллико:

— Что же, развѣ нѣтъ въ Италіи пѣвцовъ, которые пѣли „Мефистофеля“? И пѣли съ огромнымъ успѣхомъ? Съ тріумфомъ?

Г. Сабеллико ударяетъ себя въ грудь.

Восемь здоровенныхъ басовъ одобрительно крякаютъ.

— Я пѣлъ „Мефистофеля“ въ Ковентгартенскомъ театрѣ, въ Лондонѣ! Первый оперный театръ въ мірѣ!

— Я объѣздилъ съ „Мефистофелемъ“ всю Америку! Меня въ Америку выписывали!

— Позвольте! Да я пѣлъ у нихъ же въ Россіи!

Всѣ басы, тенора, баритоны хоромъ рѣшили:

— Это гадость! Это гнусность! Что жъ, въ Италіи нѣтъ пѣвцовъ?

— Кто же будетъ приглашать насъ въ Россію, если въ Италію выписываютъ русскихъ пѣвцовъ? — выводилъ на высокихъ нотахъ какой-то тенорокъ.

— Выписывать на гастроли бѣлаго медвѣдя!—ревѣли баритоны.

— Надо проучить!—рявкали басы.

У меня екнуло сердце.

— Всѣ эти господа идутъ на „Мефистофеля“?—освѣдомился я у одного изъ знакомыхъ пѣвцовъ.

— Разумѣется, всѣ пойдемъ!

Редакторъ жалъ мнѣ, коллегѣ, руку. По улыбочкѣ, по бѣгающему взгляду я видѣлъ, что старая, хитрая бестія готовитъ какую-то гадость.

— Заранѣе казнить рѣшили? — улыбаясь, спросилъ я.

Редакторъ заерзалъ:

— Согласитесь, что это большая дерзость ѣхать пѣть въ страну пѣвцовъ! Вѣдь не сталъ бы ни одинъ піанистъ играть передъ вашимъ Рубинштейномъ! А Италія, это—Рубинштейнъ!

Директоръ театральнаго бюро сказалъ мнѣ:

— Для г. „Скіаляпино“ *), конечно, есть спасенье. Клака. Купить какъ можно больше клаки, — будутъ бороться со свистками.

Мы вышли вмѣстѣ со знакомымъ пѣвцомъ.

— Послушайте, я баритонъ! — сказалъ онъ мнѣ. — Я Мефистофеля не пою. Мнѣ вашъ этотъ Скіаляпино не

*) Такъ итальянцы читали фамилію „Шаляпинъ“.

конкурентъ. Но, однако! Если бы къ вамъ, въ вашу Россію, стали ввозить пшеницу,—что бы вы сказали?

Секретарь театра „Scala“ сидѣлъ подавленный и убитый:

— Что будетъ? Что будетъ? Выписать русскаго пѣвца въ „Scala“! Это авантюра, которой намъ публика не проститъ!

* * *

Супругѣ Ѳ. И. Шаляпина, въ его отсутствіе, подали карточку:

— Signor такой-то, директоръ клаки театра „Scala“.

Вошелъ „джентльменъ въ желтыхъ перчаткахъ“, какъ ихъ здѣсь зовутъ. Развалился въ креслѣ:

— Мужа нѣтъ? Жаль. Ну, да я поговорю съ вами. Вы еще лучше поймете. Вы сами итальянская артистка. Вы знаете, что такое здѣсь клака?

— Да. Слыхала. Знаю.

— Хочетъ вашъ мужъ имѣть успѣхъ?

— Кто жъ изъ артистовъ...

— Теноръ, поющій Фауста, платитъ намъ столько-то. Сопрано, за Маргариту—столько-то. Другое сопрано, за Елену — столько-то! Теперь вашъ мужъ! Онъ поетъ заглавную партію. Это стоитъ дороже.

— Я передамъ...

— Пожалуйста! Въ этомъ спектаклѣ для него все. Или слава или ему къ себѣ въ Россію стыдно будетъ вернуться! Противъ него всѣ. Будетъ шиканье, свистки. Мы одни можемъ его спасти, чтобы можно было дать въ Россію телеграмму; „Successo colossale, triompho completto, tutti arii bissati“. Заплатитъ... Но предупреждаю, какъ слѣдуетъ заплатить,—успѣхъ... Нѣтъ...

Онъ улыбнулся:

— Не сердитесь... Ха-ха! Что это будетъ! Что это будетъ! Намъ платятъ уже его противники. Но я человѣкъ порядочный и рѣшилъ раньше зайти сюда. Мо-

жетъ-быть, мы здѣсь сойдемся. Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ рѣзать карьеру молодого артиста?

И Спарафучилле откланялся:

— Итакъ, до завтра. Завтра отвѣтъ. Мой поклонъ и привѣтъ вашему знаменитому мужу. И пожеланіе успѣха. Отъ души желаю ему имѣть успѣхъ!

На слѣдующій день въ одной изъ большихъ политическихъ газетъ Милана появилось письмо Ѳ. И. Шаляпина.

„Ко мнѣ въ домъ явился какой-то шефъ клаки,—писалъ Шаляпинъ,—и предлагалъ купить аплодисменты. Я аплодисментовъ никогда не покупалъ, да это, и не въ нашихъ нравахъ. Я привезъ публикѣ свое художественное созданіе и хочу ея, только ея свободнаго приговора: хорошо это или дурно. Мнѣ говорятъ, что клака, это—обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взглядъ, это какой-то разбой".

* * *

Въ галлереѣ Виктора-Эммануила, на этомъ рынкѣ пѣвцовъ, русскіе артисты сидѣли отдѣльно за столиками въ кафе Биффи.

— Шаляпинъ конченъ!

— Самъ себя зарѣзалъ!

— Какъ такъ? Соваться—не зная обычаевъ страны.

— Какъ ему жена не сказала?! Вѣдь она сама итальянка!

— Да что жъ онъ такого сдѣлалъ,—спросилъ я,—обругалъ клакеровъ?

— Короля клакеровъ!!!

— Самого короля клакеровъ!

— Мазини, Таманьо подчинялись, платили! А онъ?

— Что они съ нимъ сдѣлаютъ! Нѣтъ, что они съ нимъ сдѣлаютъ!

— Скажите,—обратился ко мнѣ одинъ изъ русскихъ артистовъ,—вы знакомы съ Шаляпинымъ?

— Знакомъ.

— Скажите ему... отъ всѣхъ отъ насъ скажите... Мы не хотимъ такого позора, ужаса, провала... Пусть немедленно помирится съ клакой. Ну, придется заплатить дороже. Только и всего. За деньги эти господа готовы на все. Ну, извиниться, что ли... Обычай страны. Законъ! Надо повиноваться законамъ!

И онъ солидно добавилъ:

— Dura lex, sed lex!

— Съ такимъ совѣтомъ мнѣ стыдно было бы прійти къ Шаляпину!

— Въ такомъ случаѣ пусть уѣзжаетъ. Можно внезапно заболѣть. По крайней мѣрѣ, хоть безъ позора!

Пѣвцы-итальянцы хохотали, болтали съ веселыми, злорадными, насмѣшливыми лицами.

Вся „галлерея“ была полна Мефистофелями.

— Ввалился сѣверный медвѣдь и ломаетъ чужіе нравы!!

— Ну, теперь они ему покажутъ!

— Теперь можно быть спокойными!

Одинъ изъ пріятелей-итальянцевъ подошелъ ко мнѣ:

— Долго остаетесь въ Миланѣ?

— Уѣзжаю сейчасъ же послѣ перваго представленія „Мефистофеля“.

— Ахъ, вмѣстѣ съ Скіаляпино!

И онъ любезно пожалъ мнѣ руку.

„Король клаки“ ходилъ улыбаясь, — демонстративно ходилъ, демонстративно улыбаясь,—на виду у всѣхъ по галлереѣ и въ отвѣтъ на поклоны многозначительно кивалъ головой.

Къ нему подбѣгали, за нѣсколько шаговъ снимая шапку, подобострастно здоровались, выражали соболѣзнованіе.

Словно настоящему королю, на власть котораго какой-то сумасшедшій осмѣлился посягнуть.

Одинъ пѣвецъ громко при всѣхъ сказалъ ему:

— Ну, помните! Если вы эту штуку спустите, — мы будемъ знать, что вы такое. Вы — ничто и мы вамъ перестанемъ платить. Зачѣмъ въ такомъ случаѣ? Поняли?

Шефъ клаки только многозначительно улыбался.

Все его лицо, глаза, улыбка, поза,—все говорило:

— Увидите!

Никогда еще ему не воздавалось такихъ почестей, никогда онъ не видѣлъ еще такого подобострастія.

На немъ покоились надежды всѣхъ.

* * *

— Слушайте,—сказалъ мнѣ одинъ изъ итальянскихъ пѣвцовъ, интеллигентный человѣкъ, — вашъ Скіаляпино сказалъ то, что думали всѣ мы. Но чего никто не рѣшался сказать. Онъ молодчина, но ему свернутъ голову. Мы всѣ...

Онъ указалъ на собравшихся у него пѣвцовъ, интеллигентныхъ людей,—рѣдкое исключеніе среди итальянскихъ оперныхъ артистовъ.

— Намъ всѣмъ стыдно, — стыдно было читать его письмо. Мы не артисты, мы ремесленники. Мы покупаемъ себѣ аплодисменты, мы посылаемъ телеграммы о купленныхъ рецензіяхъ въ театральныя газеты и платимъ за ихъ помѣщенье. И затѣмъ радуемся купленнымъ отчетамъ о купленныхъ аплодисментахъ. Это глупо. Мы дураки. Этимъ мы, артисты, художники, поставили себя въ зависимость, въ полную зависимость отъ шайки негодяевъ въ желтыхъ перчаткахъ. Они наши повелители,— мы ихъ рабы. Они держатъ въ рукахъ нашъ успѣхъ, нашу карьеру, судьбу, всю нашу жизнь. Это унизительно, позорно, нестерпимо. Но зачѣмъ же кидать намъ въ лицо это оскорбленіе? Зачѣмъ одному выступать и кричать: „Я не таковъ. Видите, я не подчиняюсь. Не подчиняйтесь и вы!“ Когда безъ этого нельзя! Поймите, нельзя! Это такъ, это заведено, это вошло въ плоть и кровь. Этому и посильнѣе насъ люди подчинялись. Подчинялись богатыри, колоссы искусства.

Этому вашему Скіаляпино хорошо. Ему свернутъ здѣсь голову, освищутъ, не дадутъ пѣть,—онъ сѣлъ и уѣхалъ назадъ къ себѣ. А намъ оставаться здѣсь, жить здѣсь. Мы не можемъ поступать такъ. Нечего намъ и кидать въ лицо оскорбленіе: „Вы покупаете аплодисменты! Вы въ рабствѣ у шайки негодяевъ!“

— Да и что докажетъ вашъ Скіаляпино? Лишній разъ всемогущество шайки джентльменовъ въ желтыхъ перчаткахъ! Они покажутъ, что значитъ итти противъ нихъ! Надолго, навсегда отобьютъ охоту у всѣхъ! Вотъ вамъ и результатъ!

Эти горячія возраженія сыпались со всѣхъ сторонъ.

— Но публика? Но общественное мнѣніе?--вопіялъ я.

— Ха-ха-ха! Публика!

— Ха-ха-ха! Общественное мнѣніе.

— Публика возмущена!

— Публика?! Возмущена?!

— Онъ оскорбилъ нашихъ итальянскихъ артистовъ, сказавъ, что они покупаютъ аплодисменты!

— Общественное мнѣніе говоритъ: не хочешь подчиняться существующимъ обычаямъ, — не иди на сцену! Всѣ подчиняются, что жъ ты за исключеніе такое? И подчиняются, и имѣютъ успѣхъ, и отличные артисты! Всякая профессія имѣетъ свои неудобства, съ которыми надо мириться. И адвокатъ говоритъ: „И у меня есть въ профессіи свои неудобства. Но подчиняюсь же я, не ору во все горло!“ И докторъ, и инженеръ, и всѣ.

— Но неужели же никто, господа,—никто не сочувствуетъ?

— Сочувствовать! Въ душѣ-то всѣ сочувствуютъ. Но такія вещи, какія сказалъ, сдѣлалъ вашъ Скіаляпино,— не говорятся, не дѣлаются.

— Онъ поплатится!

И они всѣ жалѣли Шаляпина:

— Этому смѣльчаку свернутъ голову!

* * *

Мнѣ страшно, — прямо страшно было, когда я входилъ въ театръ.

Сейчасъ...

Кругомъ я видѣлъ знакомыя лица артистовъ. Шефъ клаки, безукоризненно одѣтый, съ сіяющимъ видомъ именинника, перелеталъ отъ одной группы какихъ-то подозрительныхъ субъектовъ къ другой и шушукался.

Словно полководецъ отдавалъ послѣднія распоряженія передъ боемъ.

Вотъ сейчасъ я увижу проявленіе „націонализма“ и „патріотарства“, которыя такъ часто и горячо проповѣдуются у насъ.

Но почувствую это торжество на своей шкурѣ.

На русскомъ.

Русскаго артиста освищутъ, ошикаютъ за то только, что онъ русскій.

И я всей болью души почувствую, что за фальшивая монета патріотизма, это—патріотарство. Что за несправедливость, что за возмущающая душу поддѣлка національнаго чувства этотъ „націонализмъ“.

Я входилъ въ итальянское собраніе, которое сейчасъ казнитъ иностраннаго артиста только за то, что онъ русскій.

Какая нелѣпая стѣна ставится между артистомъ, талантомъ, геніемъ и публикой!

Какъ испорчено, испакощено даже одно изъ лучшихъ наслажденій жизни—наслажденіе чистымъ искусствомъ.

Какъ ужасно чувствовать себя чужимъ среди людей, не желающихъ видѣть въ человѣкѣ просто человѣка.

Всѣ кругомъ казались мнѣ нелѣпыми, дикими, опьяненными, пьяными.

Какъ они не могутъ понять такой простой истины? Шаляпинъ—человѣкъ, артистъ. Суди его какъ просто человѣка, артиста.

Какъ можно собраться казнить его за то, что:

— Онъ — русскій!

Только за это.

Я въ первый разъ въ жизни чувствовалъ себя „иностранцемъ“, чужимъ.

Все былъ русскій и вдругъ сдѣлался иностранецъ.

Въ театръ было пріятно итти такъ же, какъ на казнь.

Я знаю, какъ „казнятъ“ въ итальянскихъ театрахъ.

Свистъ,—нельзя услышать ни одной ноты.

На сцену летитъ—что попадетъ подъ руку.

Кошачье мяуканье, собачій вой.

Крики:

— Долой!

— Воинъ его!

— Собака!

* * *

Повторять объ успѣхѣ значило бы повторять то, что извѣстно всѣмъ.

Дирижеръ г. Тосканини наклонилъ палочку въ сторону Шаляпина.

Шаляпинъ не вступаетъ.

Дирижеръ снова указываетъ вступленіе.

Шаляпинъ не вступаетъ.

Всѣ въ недоумѣніи. Всѣ ждутъ. Всѣ „приготовились“.

Дирижеръ въ третій разъ показываетъ вступленіе.

И по чудному театру „Scala“,—съ его единственнымъ, божественнымъ резонансомъ, — расплывается мягкая, бархатная могучая нота красавца-баса.

— Ave Signor!

— А-а-а! — проносится изумленное по театру.

Мефистофель кончилъ прологъ. Тосканини идетъ дальше. Но громовые аккорды оркестра потонули въ ревѣ:

— Скіаляпино!

Шаляпина, оглушеннаго этимъ ураганомъ, не соображающаго еще, что же это дѣлается, что за ревъ, что за крики,—выталкиваютъ на сцену.

— Идите! Идите! Кланяйтесь!

Режиссеръ въ недоумѣніи разводитъ руками:

— Прервали симфонію! Этого никогда еще не было въ „Scala“!

Театръ реветъ. Машутъ платками, афишами.

Кричатъ:

— Скіаляпино! Браво, Скіаляпино!

Гдѣ же клака?

Когда Шаляпинъ въ прологѣ развернулъ мантію и остался съ голыми плечами и руками, одинъ изъ итальянцевъ-мефистофелей громко замѣтилъ въ партерѣ:

— Пускай русскій идетъ въ баню.

Но на него такъ шикнули, что онъ моментально смолкъ.

Съ итальянской публикой не шутятъ.

— Что же „король клаки“? Что же его банда джентльменовъ въ желтыхъ перчаткахъ? – спросилъ я у одного изъ знакомыхъ артистовъ.

Онъ отвѣтилъ радостно:

— Что жъ они? Себѣ враги, что ли? Публика разорветъ, если послѣ такого пѣнія, такой игры кто-нибудь свиститъ!

Это говорила публика, сама публика, и ложь, и клевета, и злоба не смѣли поднять своего голоса, когда говорила правда, когда говорилъ художественный вкусъ народа-музыканта.

Всѣ постороннія соображенія были откинуты въ сторону.

Все побѣждено, все сломано.

Въ театрѣ гремѣла свои радостные, свои торжествующіе аккорды правда.

* * *

Пытки начались.

Прошло полчаса съ начала спектакля.

Арриго Бойто, какъ на операціонномъ столѣ, лежалъ у себя на кровати.

Звонокъ.

— Изъ театра.

— Что?

— Колоссальный успѣхъ пролога.

Каждый полчаса посланный:

— Fischio повторяютъ!

— Скіаляпино овація!

— Сцена въ саду—огромный успѣхъ!

— „Ecco il mondo"—громъ аплодисментовъ!

Передъ послѣднимъ актомъ влетѣлъ одинъ изъ директоровъ театра:

— Фракъ для маэстро! Бѣлый галстукъ! Маэстро, вставайте! Публика васъ требуетъ! Вашъ „Мефистофель" имѣетъ безумный успѣхъ!

Онъ кинулся цѣловать блѣднаго, взволнованнаго, поднявшагося и сѣвшаго на постели Бойто.

Все забыто, маэстро! Все искуплено! Вы признаны! Публика созналась въ ошибкѣ. Все забыто! Забыто, не такъ ли? Идите къ вашей публикѣ. Она ваша. Она васъ ждетъ!

— А Мефистофель? — спрашиваетъ Бойто. — Это не такой, какихъ видѣли до сихъ поръ? Увидали, наконецъ, такого Мефистофеля, какой мнѣ былъ нуженъ? Это Гётевскій Мефистофель?

— Это Гётевскій. Такого Мефистофеля увидѣли въ первый разъ. Это кричатъ всѣ.

— Въ такомъ случаѣ я завтра пойду посмотрѣть въ закрытую ложу.

И Бойто повернулся къ стѣнѣ:

— А теперь, дружище, оставьте меня въ покоѣ. Я буду спать. Я отомщенъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Герценъ	3
Трагедія Гоголя	7
Цыпленокъ	11
Толстой и сегодняшній день	14
Горькій	26
„На днѣ“	35
Человѣкъ и его подобіе	44
Памяти Шеллера	51
На похоронахъ Шеллера	61
К. В. Назарьева	65
П. И. Вейнбергъ	76
Мое первое знакомство съ П. И. Вейнбергомъ	80
Дѣло объ убійствѣ Симонъ Диманшъ	88
Профессоръ Меркевичъ	96
Годовщина	102
Старый палачъ	106
Герои дня	114
Письмо Хлестакова	124
Корреспондентъ отъ Maxim'a	129
Живъ Курилка	133
Баронъ Иксъ	139
Улыбка Вольтера	148
Симеонъ, не дожившій до Срѣтенія	151
О Вересаевѣ	156
Репортеръ	164
В. И. Ковалевскій	171
Г. Г. Солодовниковъ	179
В. И. Сафоновъ	193
Шаляпинъ въ „Мефистофелѣ“	203

PG 3460
D67
1905
V.4

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

DEC 8 1983.